

Иван
ШУМИЛОВ

ЧТО ТАКОЕ ОГОНЬ











Министерство культуры Алтайского края
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова
Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской

Иван
ШУМИЛОВ

ЧТО ТАКОЕ ОГОНЬ

A stylized graphic illustration featuring a hand in profile, rendered in white with blue outlines, holding a flame. The flame is depicted with several sharp, triangular shapes in blue and red, radiating outwards from the hand. The overall composition is dynamic and abstract.

БАРНАУЛ
2019

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке Правительства Алтайского края в рамках серии «Издания для детей»

Редактор-составитель: Л. В. Санкина
Дизайнер-оформитель: К. М. Паршина

Шумилов, И. А.

Ш 96 Что такое огонь : сборник прозы / Иван Шумилов ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул ; Новосибирск : ООО «Типография Колорит», 2019. – 203 с. : [1] л. порт., ил. – (Издания для детей).

ISBN 978-5-90363-287-9

Книга выпущена к 100-летию со дня рождения Ивана Леонтьевича Шумилова – члена Союза писателей СССР. В неё вошли повести и рассказы, которые объединены темами становления характера и переживаний ребёнка, чести, ответственности и настоящей дружбы.

Издание адресовано детям среднего и старшего школьного возраста, а также всем почитателям творчества Ивана Леонтьевича Шумилова.

ББК 84 (2Рос-Рус) 6-4

© И. А. Шумилов, 2019

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2019

ISBN 978-5-90363-287-9

© К. М. Паршина, дизайнерское оформление, 2019

ДОРОГИ К СЧАСТЬЮ ИВАНА ШУМИЛОВА

Иван Леонтьевич Шумилов — алтайский писатель, педагог-просветитель, участник Великой Отечественной войны. Рассказы и повести Ивана Шумилова, адресованные как взрослым, так и детям, активно издавались в 1950—1970-х гг., однако в настоящее время многие из них стали библиографической редкостью, а имя писателя незаслуженно забывается, уходит на периферию литературы. В задачи настоящего издания произведений И. Л. Шумилова входит знакомство юных читателей с художественным миром автора, сюжеты и образы которого воссоздают страницы военной истории и мирной будничной жизни нашей Родины. Важно, что события многих произведений Ивана Шумилова соотнесены с так называемой «малой родиной» — сёлами, районными центрами и городами Алтайского края, что, несомненно, приблизит юных читателей к изображаемому, будет способствовать формированию чувства патриотизма, очень актуального в наше время.

Иван Леонтьевич Шумилов родился в селе Ильинка Павловского района. Закончил семилетку и торговый техникум, работал бухгалтером в с. Ключи. Исследователи творчества и биографы отмечают серьёзное увлечение молодого Ивана Шумилова литературой, его желание стать учителем. Директор школы с. Ключи, «умный, задушевный человек Иван Васильевич Глазунов <..> взял молодого парня в школу учителем-словесником и порекомендовал поступать в пединститут. Война прервала его планы, учёбу в институте». Да, война вторглась в жизнь молодого парня, трансформировала её, но именно участие в боевых действиях, организация партизанского отряда в тылу врага, на территории Белоруссии, позволили ярко, в художественных образах, передать пережитое.

Значение биографии писателя при расшифровке его художественного наследия очень важно. И совершенно очевидно, что отсветы автобиографического начала встречаются в каждой книге художника, тем более такого, которому довелось побывать на страшной войне. В конце 1940-х гг. Иван Леонтьевич, работая учителем-словесником, начинает заниматься литературным творчеством. В 1948 г. в альманахе «Алтай» публикуется его первый рассказ — «Балаш», в котором говорится о партизанском командире. В 1949 г. в журнале «Сибирские Огни» печатается повесть «В тылу

врага», в 1954 г. в Алтайском книжном издательстве выходит его первая книга «Рассказы». Начиная с 1960-х гг. Иван Шумилов, искренне любящий детей и знающий их мир, начинает публиковать произведения, ориентированные на детское восприятие. Среди них – сборник детских рассказов «Панька-генерал» (1962), повести «Стефка» (1973) и «Пегушок» (1975), рассказы «Что такое огонь» (1970), повесть-сказка «Королевские музыканты» (1973) и другие. В 1979 г. И. Л. Шумилова принимают в члены Союза писателей СССР. Книга «В тылу врага», объединившая повести и рассказы о войне, вышла в 1983 г., после смерти автора.

В 1960 г. И. Шумилов был вынужден уйти с преподавательской деятельности. Врачи выявили у него тяжёлое заболевание, истоки которого также уходят в суровое военное прошлое. Жизнь в партизанском отряде в лесу не прошла бесследно: были застужены лёгкие, что и послужило причиной обострения туберкулёза – болезни, несовместимой с педагогической деятельностью. Как писал об Иване Шумилове алтайский прозаик Виктор Сидоров, «не прошли бесследно годы невзгод, кочевой, насытой и холодной жизни <..>, но он не сломался, не опустил руки, не пал духом. Собрал в единый комок всю волю, всю силу свою – продолжал жить, словно ничего не произошло, только писал жадно и много, будто торопясь». Благодаря такому упорному труду И. Шумилова, торопившегося рассказать нам о войне, о мирной послевоенной жизни, мы можем познакомиться с его героями.

Книга, которую вы держите в руках, названа по одному из рассказов Ивана Леонтьевича – «Что такое огонь». Рассказ был напечатан только однажды – в газете «Алтайская правда» в 1970 г. Он выделяется среди других произведений И. Шумилова тем, что изображает простые моменты жизни счастливой семьи. Военная тематика как бы отсутствует в художественном пространстве рассказа. Однако и здесь автор не обходится без аллюзий к войне. Герои рассказа – отец и сын. Согласно сюжету, воспроизводящему будничную деревенскую ситуацию, отец учит ребёнка колоть дрова. Ребёнок явно рождён после войны, он очень любопытен, непосредствен в своих детских мечтах и фантазиях. Начинается рассказ с внутреннего монолога мальчика: «Меня очень интересует солнце. Как это оно светит? <..> И ещё я часто думаю про огонь. Что это такое? Прямо загадка!» Через риторические вопросы и восклицания, через просторечия и грамматические неточности автор воссоздаёт

непосредственную речь ребёнка-мечтателя. Но в мирную будничную жизнь вторгается воспоминание о войне, без которого уже не может существовать взрослый мужчина — отец. На вопрос сына о том, сколько лет отцу, он отвечает: «В первый год Отечественной войны мне было столько, сколько тебе будет в двадцать пятый год после её окончания. Ну-ка, смекни!» Таким образом, измерение времени даётся через незримое присутствие войны, поломавшей судьбы многих. И замечательно, что для ребёнка эта война так далеко, что он не особо задумывается над нею, живёт в своём детском мире, безгранично радуясь общению с отцом, называя его очень тепло и интимно — «папка». Так, комментируя отцовскую «задачку», он отмечает лишь, что «папка у нас вообще выдумщик и чудила». Объяснение категории огня очень необычно: огонь, согласно высказыванию отца, появляется вследствие труда человека, огонь — это активное «движение каких-то частиц». Когда мальчику удаётся нарубить сучковатые поленья, отец щупает его лоб и говорит: «Горячий. Прямо огонь! Твоя энергия перешла в дрова. Жаркие будут!.. Понял теперь, что такое огонь?» В конце рассказа мальчик приседает на «горку поленьев», чувствуя, «как по рукам <..> там, за кожей, бегают кровь». Ему хочется прилечь и уснуть, как подчёркивает автор, «законно уснуть, как добытчику огня». Образ ребёнка, воссозданный здесь И. Шумиловым (а также — в рассказах «Мой меднолицый брат», «Петька-космонавт» и др.), близок образам детей послевоенной литературы, героям В. Драгунского, Н. Носова, В. Голявкина и др. Это позволяет рассматривать творчество И. Шумилова как неотъемлемую часть национального литературного процесса, без воссоздания которой представление о многообразии отечественной литературы будет неполным.

Многое для изучения творчества нашего земляка сделали сотрудники Павловской межпоселенческой модельной библиотеки, носящей имя И. Шумилова. С 2002 г. по инициативе Алтайской краевой писательской организации, при поддержке Администрации района и Павловской центральной библиотеки ежегодно проходят Шумиловские чтения. В 2002 г., после первых Шумиловских чтений, начали переиздавать произведения автора, первой среди которых является повесть «Трещина».

2019 год — год столетия со дня рождения Ивана Леонтьевича Шумилова. В память о нашем земляке, о его творчестве — эта книга.

Ольга Игоревна Плешкова
кандидат филологических наук, доцент





СТЕФКА

Повесть

1

«Папа, папа! Ну что ты не отвечаешь, папа?»

Борков открывает глаза. Санька? Где Санька? Только что они шли – Санькина ручонка в его ладони – по травянистой тропе. Нет ни Саньки, ни тропы. И откуда-то надвинулась на него эта непонятная гнилая, вся в голубых дырах соломенная крыша... бурая стреха с белым ласточкиным гнездом, щелястые стены из жердей... Он лежит на сене, пахнущем полынью и ещё чем-то, кажется, мятой. Под головой – подушка, большая, мягкая.

«Пистолет?» – Он потянулся под подушку, но острая боль сразу погасила сознание.

Очнулся от прикосновения ко лбу чего-то мокрого и холодного. Похоже, мокрая тряпка. Разомкнув веки, увидел склонившееся над ним женское лицо. «Анна?» Нет, не Анна. У этой длинные серые глаза и светлые волосы.

Векам тяжело и больно, и он снова опускает их. Кого-то напоминает это девичье лицо с узеньким подбородком, тонким носом и длинными открытыми глазами. Кого-то из детства...

– Как вас зовут? – он удивился слабости своего голоса.

— Стефка. — Она сказала это имя через «э», так, как произносят его здесь, в Белоруссии. — Ой, как хорошо! А то я думала, вы никогда не заговорите!

— Уберите тряпку, жару у меня нет.

Он внимательно смотрел на девушку. А она, будто торопясь выпалить всё, чего она не могла до этой минуты высказать, обрадованно, волнуясь, зачастила:

— Вы потеряли много крови и ослабли. И так исхудали — я подымала вас легко, как маленького ребёнка. Вы не бредили, только страшно стонали... А тут, около сарая, как назло, ребятишки бегают, и я всё вас утишала, всё говорила вам: терпите, терпите. Когда дедушка уехал, я подумала: что буду делать, если он умрёт?

Спohватившись, что сказала лишнее, она умолкла. А ему хотелось слушать и слушать — будто он соскучился по человеческой речи.

— Ну, лежите, я принесу что-нибудь поесть.

Скрипнула дверь, щёлкнул замок. «Как, на замок?» Он прислушался. За стенами гроыхала по бубльжнику повозка, скрипел и посвистывал колодезный вал, а вот — кудахчут куры, лениво мычит телёнок...

«Что, если в деревне немцы?»

Не обнаружив под подушкой оружия, он, напрягаясь, попытался дотянуться до щели, что светила в стене, но задохнулся от боли в плече, снова повалился на подушку.

— Спасли на свою голову, — сказал он, когда Стефка принесла еду и начала кормить его. — Теперь вот ухаживаете, а сами, небось, трясётесь, ночи не спите...

— Это правда, ночи я не сплю, боюсь. Но что же делать, если я такая трусиха?

– Немцы-то далеко?

– У нас нет. В Липках, за десять километров.

Он улыбнулся. Хотелось взять и погладить её сухонькие красноватые пальцы.

– Вас дедушка нашёл. Вечером привозит берёзовые сучья, забегает в хату: «Давай подушку, одеяло, да быстрой!» А уже на потёмках было. Вышла я к возу, а вы под сучьями лежите, белый и весь в крови. Напугалась я до смерти, руки трясутся. А дедушка как закричит: «Чего стоишь? Не видишь, раненый. Стели в сарае постёлю!» Сам обложил вас ветками да и перетащил сюда, вроде бы как охапку сучьев.

– Что же деда не видно?

– Вчера в Минск уехал. Вот обрадуется, когда увидит вас такого!

– Зачем же он поехал?

– Не сказал. Такой скрытный! Может, лекарства достать.

2

Медленно тянулись дни. Раны промывали слабым раствором риваноля, но и он скоро кончился. Тогда Стефка раздобыла где-то мёду. Говорила сначала, что он «всё вытягивает», а потом – что «всё затягивает». Борков же про себя был уверен, что лечись он не в этом сарае, а в госпитале – давно бы поднялся.

Стефка не оставляла Боркова. Борков радовался всякому появлению Стефки и всякий раз с новой остротой переживал чувство своей вины и неловкости перед этой девочкой – какая расправа ждёт её, если Боркова найдут

здесь, гадать не приходилось. Желая хоть как-то приглушить страх Стефки, он говорил ей:

– Ну, ещё два-три дня – и я подымусь, уйду в лес.

Но проходили и эти дни, а он всё лежал. Мало-помалу раны всё-таки подживали. Он свежел, стал больше есть, и вроде бы с жадностью. Шутил по этому поводу: «Всё, что встретим на пути, может в пищу нам идти». Стефка моргала своими длинными глазами и улыбалась одними уголками мягких толстоватых губ. Однажды она застала его расхаживающим по сараю.

– Ой, что вы? Ложитесь... Нельзя вам!..

– Дышу, – оправдывался он. – Зарядку делаю.

Но сразу же покорно лёг.

– Я вам вот что принесла, Борис Ильич. – Она вынула из-под пиджака свёрток, размотала его, и Борков увидел зеркальце, стакан с водой, бритву.

– Папина, – сказала она о бритве. – Берегу, може, вернётся.

– Он в армии?

– Не знаю. Ушёл в первый день войны – и ниякой весточки.

Борков взглянул в зеркало:

– Ого! Одного моего вида немцы напугались бы. Соловей-разбойник! – Он рассматривал своё лицо, тербил щетину. – А мать?

– Умерла перед войной. – Стефка опустила глаза.

Ночью он вышел из сарая. По небу низко бежали рваные чёрные клочья, тощим яликом барахтались в них месяцы, было неуютно, тоскливо, зябко. Пахло глинистой сыростью, прелым листом берёз. Поёживаясь, он подумал о своём одиночестве. Где его хлопцы? Остался ли кто в живых? Отчётливо, резко встали перед ним события того туманного сентябрьского утра. После ночного налёта на железнодорожную будку их маленький отряд отмахал двадцать вёрст и уже вошёл в лес. Уставшие, но счастливо возбуждённые, хлопцы весело переговаривались, шутили. И вдруг справа, это он ясно помнит, хлестанули по ним. Почти в упор. «Ложись!» — успел крикнуть он, отбегая с дороги в мелкий густой березняк. Что-то горячее ударило в плечо, в руку, он выронил пистолет, но всё бежал и кричал. Потом наступил мрак.

Скорее бы встать на ноги, разыскать живых, узнать о мёртвых.

Тут же стал думать об Анне и Саньке. Живы ли? Что с ними? Перед самой войной они уехали в Рязань, погостить у родственников. Прощаясь, Анна серьёзно наказывала: «К моему возвращению купи себе шляпу». Он усмехнулся. Вот тебе и «шляпу». Она всегда хотела видеть его франтом, любила сама выбирать ему галстуки, запонки, следила за ним, как нянька за ребёнком.

А он обожал простые рубашки — косоворотки, полувоенные гимнастёрки. Галстук всегда давил ему шею, сковывал, казалось, не только движения, но и мысли.

Ах, Анна, Анна! Он снова ощутил свою неприкаянность, сиротливость. Быть бы сейчас с товарищами, там,

где стоят насмерть... Да, но ведь никто тебя не неволил, сам ты, безо всякой там «агитации», согласился остаться здесь, во вражьем тылу.

Брякнула дверь Стефкиной хаты. Луна как раз вынырнула из-за туч, и он увидел высокого и статного, в шинели и, кажется, в пилотке, парня. Борков прижался к углу. Парень постоял, закурил и размахисто зашагал из ограды. «Ухажёр? А если... Но нет, нет!»

В эту ночь он заснул только под утро.

Его разбудил тягучий, отдалённый, но всё более нарастающий гул мотора. Вбежала Стефка.

– В вёску¹ едут немцы!

Борков поспешно шагнул к воротам.

– До лесу далеко?

Девушка ухватилась за него:

– С ума сошли! Они уже подъезжают.

Он видел, как побледнело её лицо, как дрожат лиловатые пухлые губы.

– Под сено ховайтесь²! Вот сюда, скорее! – Она полезла под копну и на спине подняла один её край, образовав углубление.

– Ну, скорее, Борис Ильич! Я вас закрою на замок. Что же вы?

– Нет, на замок не закрывайте.

– Хорошо, как вам лучше.

Он жёсткими и беспокойными глазами в упор смотрел на неё и не двигался.

– Дай мне вилы! – вдруг переходя на «ты», сказал он.

¹ Вёска (белорусск.) – деревня.

² Ховаться – прятаться.

Она влезла на солому и оттуда протянула железные четырёхрожки.

– Ты никуда отсюда не пойдёшь!

– Почему? – Она какие-то секунды недоумевающе смотрела на него и вдруг вскрикнула:

– Ой! – и закрыла лицо руками. Комочком, как скатываются играющие дети, она скатилась с соломы и, сидя на земле, вопрошающе смотрела на него.

– Вы мне не верите? – Глаза её, наполненные влагой, заморгали.

– Кто у тебя был ночью?

– Ах! – Она вздохнула. – Это же Костя, Кастусь!

– Жених?

– Знакомый. Из нашего села... Ну, что же вы? Прячьтесь скорее!

– Почему он в шинели? Полицейский?

– Что вы! На нём наша шинель, серая. Он любит всё военное. И ремень носит. Только шинель он надевает по ночам. Он перед войной из школы сбежал, из десятого. К дяде своему поехал, тот полковник у него. Ну, хотел Костя в лётчики попасть, а дядя его турнул обратно – говорит, школу заканчивай. Вот теперь и получилось – ни там, ни тут. У него и наган есть. Показывал.

– Ты сказала ему обо мне?

– Что вы! Как можно?!

– Хорошо, я верю, Стефа. Иди.

Она не пошевелилась.

– Сейчас же иди!

– Не пойду!

На деревне хлопнул выстрел – завизжала свинья, но визг сразу же смолк.

Они приникли к щели. Но видели лишь ближние дома. По доносившимся крикам, по хлопающим выстрелам предположили, что немцы забивают скот и погружают в машину... Женский плач гулко разносился в утренней прохладе.

Когда всё умолкло, Стефка вышла из сарая «на разведку». Вскоре она вернулась, хлопая большими, видимо, отцовыми сапогами.

— Три коровы взяли и три свиньи, — сказала она. — Чтоб им подавиться!

И улыбнулась. Улыбнулась, видимо, тому, что всё обошлось благополучно. Улыбка так и осталась в уголках её губ, и у Боркова мгновенно вспыхнуло воспоминание. В детстве он часто рассматривал картину, которая висела у них в красном углу, рядом с иконами. На ней нарисована была женщина вот с такими же, как у Стефки, длинными ласково-вопрошающими глазами. Он подолгу стоял у портрета, раздумывая о том, кто эта женщина, где живёт и нельзя ли увидеть её въяве.

Есть лица, которые сразу поражают. Нет, не красотой, а особым состоянием души, отражающимся на них. Стефкино лицо как раз было из таких. Казалось, в вопрошающих и чуть удивлённых глазах её живёт отважная готовность пожалеть, помочь...

4

Наконец-то пришёл к Боркову его спаситель Игнатий Сило. Он высок и костяво-худ. Держится ещё прямо, но лицо уже подёрнуто старческой землистостью. Одет в поношенный дублённый полушубок, на

голове — пожелтевшая от времени папаха николаевского солдата. Сила и красота старика, казалось, ушли в могучую сивую бороду, закрывавшую всю грудь.

— Очухался, браток? — Голос Игната старчески хрипл, но ещё густой и сильный. — А ведь когда подбирал тебя, мертвяком ты был! Стало быть, Стефка выходила...

— Спасибо вам, — начал Борков.

— Э, браток, что об этом говорить! — остановил его старик. — А ведь я тебя сразу узнал!

— Да?

— Э, думаю, да это же из нашего партийного райкома! Помнишь, приезжал ты к нам в вёску на заём агитировать? Крепко мы тогда поцапались. Я говорю — четвертнюю, а ты мне — полсотни. Если, говоришь, на полсотку не подпишешься, то и совсем не надо...

— Я что-то не помню, Игнатий Савельевич. А на сколько же всё-таки вы тогда подписались?

— Да уж как ты сказал. Подписался. Ну, дело прошлое. Ты вот скажи, как они вас смогли подкараулить?

— Сам не пойму. Сроду не думали, что там засада.

— Хвалятся липецкие немцы и полицаи. Раззвонили везде, что банду партизан разбили. Ан нет, выходит, не разбили, раз командир жив. Войско снова будет.

— Думаю, будет. Ну, что на свете нового? Что слышно?

— Плохо, браток. Говорят, немец уже у Москвы. Прёт, холера.

Помолчали.

— Табачку бы, — сказал Борков, ощутив властную потребность глубоко затянуться самокруткой.

— Принесу. Сам я уже десять годов как бросил. — Силко вздохнул. — А что же это дальше-то будет, браток?

Неужто и Москву заберёт? И откуда такая сила? Нет, это генералы наши маху дали...

Борков, сидя на соломе, прутиком разметал перед собой землю. Разговоры об отступлении нашей армии для него всегда были мучительны, и он старался быть кратким и суховатым, чтобы только не вдаваться в подробности.

— Солдат наш крепкий. Сами германские генералы говорят: кабы нам русского солдата, весь свет под себя бы подмяли...

Борков, бросив прутик, сказал:

— Вы что же, с ними встречались?

— С кем?

— Ну, с германскими генералами, которые говорят...

Борков тотчас пожалел о сказанном. Силко умолк, сердито засопел.

— Жартовать¹ со мной вроде бы несподручно тебе, — обидчиво сказал он.

— Простите, Игнатий Савелич. Я злой теперь, от болезни, что ли...

— Ага, озлились! Надо бы раньше озлиться! Ладно, я по делу зашёл...

Он сунул руку за пазуху и долго держал её там, что-то нащупывая и будто не решаясь показать.

«Ох, уж эти сивые черти! — думал Борков. — Хитрущие. Вот тянет за душу...»

Игнатий вынул свёрток и долго разматывал тряпицу — казалось, ей не будет конца. Вдруг в руке его тускло блеснула воронёная сталь.

¹ Жартовать (белорусск.) — шутить.

— Руки в гору! — зашептал он, направив пистолет на Боркова. Дырочка ствола чернела перед глазами Боркова. Он удивился, как она мала и чётко-кругла.

— Ну, не шути, отец, оружием не играют, — в замешательстве сказал он.

Под усами у Силко зажелтели редкие зубы.

— А что, напужался? Люблю весёлых людей — и сам весёлый! — Он опустил пистолет. — Возьми, браток. Вот за ним и ездил. К старому дружку своему, к сослуживцу. Страху сколько из-за этой штуки принял... Возьми... Только чтобы разговоров не было! — И Силко опять показал прокуренные зубы и хитро сощурил глаза. Борков обнял его и поцеловал в жёсткие, как проволока, усы.

— Ну, спасибо. Только у меня, отец, есть к тебе просьба ещё важнее. Я должен связаться с людьми...

Они долго ещё говорили, и Игнатий пообещал разыскать кое-кого.

5

Стемнело. Сторожкая, обманчивая тишина стоит над деревней.

Редко у какого окна не дежурит человек, вглядываясь в тьму, прислушиваясь к тишине. Ждёт. Кого? Бойцов, тайком пробирающихся из окружения на восток, к фронту, — надо бесшумно открыть дверь, приветить, накормить. Своих, деревенских, родственников, знакомых, коммунистов, активистов... А то и врагов, могущих каждую минуту нагрянуть с обыском, арестами, грабежом, расправой, — надо успеть схватиться, убежать или приготовиться.

Борков стоит у ворот сарая и тоже прислушивается...

Сегодня должны прийти двое: этот Стефкин знакомый Костя, который, как она сказала, только и ищет встречи с партизанами, и бывший председатель сельского Совета Гаркуша, скрывающийся где-то за двадцать вёрст отсюда, у родственников. Игнатий Силко съездил к нему, разыскал, договорился о встрече.

Из-за сарая донеслось чавканье чьих-то сапог по липкой грязи.

— Пароль! — окликнул Борков.

— Минск.

Гаркуша низок, плотен, с грубой шершавой ладонью.

Костя высок, строен, цепко схватился за руку, жмёт горячо, долго не выпускает.

— Вихрянов, — рекомендуется он.

Вошли в сарай. Гаркуша знал Боркова, а Костя, конечно, слышал о нём, как о работнике райкома. Борков, приглядываясь к ним, рассказывал о своём маленьком партизанском отряде, теперь погибшем или рассеянном. А они, Гаркуша и Костя, ничего не слышали о партизанах после той ночи? Нет, оказывается, не слышали.

Вспышки цигарок вырывали из тьмы то лицо Гаркуши с мясистым носом, всё заросшее рыжей щетиной, то лицо Кости, молоденькое, с устремлёнными на Боркова выпуклыми глазами.

За всё время разговора Костя произнёс лишь одну фразу: «Пора начинать!»

Он был почти в отчаянье. Никакого терпенья не хватало разговаривать с этими пожилыми и слишком осторожными людьми! Об одном человеке, с которым нужно

связаться, они могут всю ночь рассуждать. Кто он, да кто его отец, жена, тёща. Где родился, когда в колхоз вошёл и что там делал... Скука! Неужели они не понимают, что сейчас каждое сердце порохом начинено? Если бросить клич: «К оружию! На Минск!» — Костя уверен: через месяц вся Белоруссия запыхает восстанием! А они тут о каком-то Иване Петровиче битый час говорят. Конспираторы... Этот Борков, кажется, здорово перетрусил. Нет, со своими хлопцами, сверстниками, скорее договоришься. С ними можно такого грому наделать — люди ахнут! Вот погодите, пока вы всякие связи да явки налаживаете, мы начнём действовать! Вы о нас ещё услышите!

А следующим вечером Костя опять появился у Боркова. По собственному почину пришёл, без приглашения. Вчера Борков не разглядел его экипировку. И сейчас поразился, увидев, как Костя важно, по-петушиному, рассказывает по сараю. Белая барашковая кубанка с красным верхом. Из-под кубанки свисает на левую бровь начёс светлых волос. Длинная шинель оплетена ремнями. На последние дырочки затянут широкий комсоставский ремень. Новая хрустящая португепя. Рядом с португепей бежал ремешок, на котором висела туго набитая сумочка («Патроны»? — подумал Борков). Португепю и ремешок перекрещивала узенькая полоска кожи с пряжкой посередине — на ней болталась кобура, а сам револьвер был заткнут за пояс. Рядом с наганом за поясом торчала сильно поржавевшая граната, а на боку — кинжал. На верхней пуговице левого борта поблёскивал электрофонарик. Воинственный вид Кости довершал компас, неизвестно почему зацепленный за пряжку португепи на середине

груди, словно это был не скромный прибор для ориентировки, а, по крайней мере, солидная боевая награда.

— Батенька ты мой! — воскликнул Борков. — Ещё бы латы, шлем с забралом — и пиши с тебя портрет рыцаря!

Костя вскинул на Боркова злые выпуклые глаза, дёрнул плечом.

— Ну и что дальше? — уже серьёзно спросил Борков.

— Разрабатываю план нападения.

— На какой гарнизон?

— На коменданта Липок Мацука, шефа полиции.

— Операция стратегически важная.

Костя тряхнул начёсом жёлтых волос.

— Да, важная! У него мой автомат. Пока что не мой, но будет мой. Немцы ему выдали.

— Так в чём же дело?

— Да вот... у меня, в случае какой заварушки, отбиться нечем.

— А наган?

— Он без бойка.

— Ну, гранатой.

— Без запала. А мне сегодня ночью это дело надо вернуть. Нет ли у вас пистолета? На одну ночь.

— Сегодня нельзя. Есть другие соображения, — сухо сказал Борков. — И вообще пока нельзя.

— Нельзя? А чего ждать?

Борков молчал.

— Ничего не понимаю, — возмущённо и быстро заговорил Костя. — Запрещаете убивать вражину, скариота, как его наш дед Игнат называет. Нет, нам с вами, кажется, не договориться.

- Ты, Костя, признаёшь военную дисциплину?’
- А как же! Конечно... Но я дал клятву сегодня же стереть с лица земли Мацука!
- Кому дал клятву?
- Кому... – замылся Костя. – Себе... И я её выполню, вы не запретите!
- Если хочешь – запрещаю, – спокойно отрезал Борков.
- Тогда прощайте! – разгневанно сказал Костя и зашагал к воротам. Борков вскочил, хотел удержать, наругать этого мальчишку. Но когда он дошёл до ворот, Костя шагал уже по полю, между берёз, шагал быстро, как человек оскорблённый и решительный.

6

Если Гаркуша сумеет найти людей, через недельку-две можно будет организовать вооружённую группу. Эх, скорее бы выздороветь! Только вот Костя заботит Боркова. Ушёл и больше не приходит. Вчера он спросил о нём у Стефки.

– Не знаю, не видела, – ответила она.

А Костя неожиданно явился в потёмках. В сарай к Боркову он не заглянул – сразу прошёл в хату.

– Стефа, выйди на минутку.

Она на босу ногу надела сапоги, кинула на плечо кожанок, на голову – старенькую шаль. Вышли в оградку.

– Где ты был? Борис Ильич тебя спрашивал.

– А что он мне, твой Борис Ильич? Подумаешь, командир!

– Да что с тобой, Костя?

- Не будем об этом, Стефа, я иду.
- Куда?
- Ну, куда... Сама знаешь. За автоматом.
- Ой, Костя, я боюсь!

У неё вдруг отяжелели руки и ноги. Разве можно отпустить одного? Он ведь ненормальный. Отпусти его — и думай всю ночь, не спи, мучайся.

- Возьми меня, Кастусь!
- Но ты же боишься?
- Нет, нет! Я уже не боюсь.
- Разве на часах постоишь?
- На каких часах?
- Ну, на карауле.
- На варте? Постою!

Костя долго молчит, потом нерешительно спрашивает:

- А если страшно будет?
 - Так я же с тобой!
 - Ну, добро, иди собирайся! Только молчок деду!
- Скажи, по вёске пройдусь...
- Уж знаю, что сказать!

7

В первые дни войны по фронтовым дорогам пробирался на восток крупный вор-рецидивист Фёдор Мацук, освобождённый из тюрьмы немцами. Шёл он открыто, порою вместе с немецкой колонной, кормился зачастую у солдатских кухонь, помогал интендантской команде в черновой работе — ободрать тушу, нарубить дров, перенести мешки.

Однажды хозяйственный взвод остановился на хуторе, что стоит неподалёку от старой польско-советской границы. Хозяйка хутора пани Зося неприветливо встретила гостей. Она грубо кричала на них и даже насакивала с кулаками, но отстоять двух огромных епруков¹ ей всё-таки не удалось.

Мацука поразила смелость женщины и красота её: глаза серые, лицо шелковисто-смуглое. У дома громоздились пристройки – рига, сарай, дворы, под окнами цвёл садик и гудели пчёлы. Всё это тоже произвело на странствующего бобыля² сильное впечатление.

Пани Зосе было между тридцатью и сорока, мужа её, польского осадника³, арестовали после сентября 39 года. Подкормившийся около кухонь Мацук всю ночь раздумывал о соломенной вдове и о судьбе своей. Куда и зачем он идёт? Родные края, правда, уже недалеко, но как они встретят? Родичи от него давно отказались, жены, детей не было, люди слишком хорошо знают его...

Утром он ушёл в лес за валежником для кухни и не вернулся.

Когда солдаты покинули хутор, Мацук явился к пани Зосе побритый, возбуждённый. Одна бровь у Мацука была рассечена и приподнята – след буйной молодости, – и оттого казалось, что глаз его смотрит недобро и подозрительно. Но Мацук верил в свою неотразимость. Три дня продолжалась осада.

¹ Епрук (белорусск.) – кабан.

² Бобыль – одинокий бессемейный человек.

³ Осадники – польские легионеры, которых правительство Пилсудского селило вблизи польско-советской границы как преданных ему кулаков и полупомещиков, злобных врагов советского народа.

– Цо бэндем робить, пан Мацук? – спрашивала пани Зося.

– Працовать в господарке¹, – хитрил жених, никогда не державший в руках ни косы, ни вил.

– Праца ничего не даст. Такого мужа мне не надо!

Злым ушёл от осадничихи Мацук. В этот же день он перешёл старую границу и оказался в Липках. Случайно забрёл в здание райисполкома, обошёл все кабинеты, но, кроме разбросанных на полу бумаг да пепла в комельках, ничего не нашёл. В коридоре валялась белая тряпица. Мацук поднял её, остановился, будто прислушиваясь...

Начертав на этом лоскутике паучью свастику, он надел его на рукав и вышел из помещения. В первой же хате сказал хозяйке:

– Немедленно приведи в порядок райисполком. Побели и помой. Здесь разместится полиция.

Назавтра он занял под свою квартиру огромный дом, который накануне оставили квартиранты – учителя. Правда, в доме оставались вещи и жила их хранительница старушка Марковна, но вещи вскоре перекочевали на хутор пани Зоси, а Марковна была превращена в экономку шефа полиции.

Немцам понравилась холуйская инициатива Мацука. Через три месяца под его началом было уже десять полицейев. Засада на отряд Боркова, устроенная немцами по замыслу Мацука, ещё больше подняла его авторитет.

Сегодня вторую половину дня Мацук провёл в поле, у Залесья. Перед глубокой траншеей расстреливали евреев. Возвратившись домой, когда хмель уже испарился,

¹ Працовать в господарке – работать в хозяйстве.

Мацук ощутил вдруг навязчивую, необоримую тошноту. Звенело в ушах. Он осмотрел костюм. Нет, крови нигде не было. Тщательно намылил руки, долго тёр их полотенцем.

— Водки, Марковна! — сказал как можно веселее. После двух стаканов разлилось по жилам тепло и пришло успокоение. Явилась потребность говорить.

— Марковна! Ты знаешь, что такое немцы?

— Кто ж их знает... Господа.

— Ха, господа! Это индюки и рыси! А Гитлер у них — бесноватый. Понимаешь? Сбежал из сумасшедшего дома!

Перед Марковной шеф полиции немного трусил и хотел показать, что немцев он всё-таки не любит.

— Что вы говорите! Разве можно так?

— Это свора собак на железных тележках. А без нас им не справиться с Россией.

— Где уж! — подтверждала Марковна.

— Не съездить ли мне сегодня к пани Зосе?

— Дело ваше.

— Выпей, Марковна, со мной!

Старушка замахала руками и скрылась в спальне. Мацук снова налил в стакан.

8

Костя и Стефка прокрались к дому Мацука по задворкам. Липки давно уже окутал плотный туман. На улицах — тишина. Костя осторожно открыл калитку. «Свободненько себя чувствует, — шепнул он Стефке. — Ты будешь здесь стоять, у двери. Услышишь чего в улице — шукнешь».

В сенях горела лампа. Костя приложился ухом к двери, но ничего не мог услышать! Постучал. Сначала робко и тихо, потом сильнее, увереннее. Не получив разрешения, он дёрнул за ручку и, широко распахнув дверь, встал на пороге.

— Кто там? Проходите!

Костя мигом оказался в комнате. Стефка следовала за ним, ни на шаг не отставая.

— В вашей хате — советская власть! — объявил Костя и брякнул о стол ржавой гранатой. Задрожал графинчик, заплескалась в нём прозрачная жидкость.

Мацук однако не пошевелился.

— Руки вверх! — гаркнул Костя. В левой руке он держал наган. «Почему в левой? — подумала Стефка. — Он же не левша».

— И шутник же ты, хлопец! — с пьяной улыбкой заговорил, наконец, Мацук. — Умеешь холоду нагнать. Далеко отсюда советская власть, а скоро и совсем испарится. Садись-ка, выпьем. Люблю шутки. Ты что, в полицию наниматься? Приветствую и поздравляю!

— Встань, скариот! — снова гаркнул Костя и револьвером ударил Мацука по голове.

Глаза коменданта расширились. Он в упор смотрел на Костю.

— Руки! — напомнил Костя. — Где автомат?

— Какой? Мне не выдали...

— Врёшь! Минута для раздумья! Шкура!

Приоткрылась дверь спальни, и в отверстие высунулась голова Марковны.

— Спи́те, бабу́ся! — сказа́ла Сте́фка и са́ма не услы́шала сво́его го́лоса: полетела ла́мпа, загремел сто́л, завизжали и завози́лись на полу. Си́льно запахло разли́тым кероси́ном.

— Сосунок! — рычал комендант. — Па́дло!

Кто-то схватил Сте́фку за ногу, и она упала. Барахтаясь в больших, не по размеру, сапогах, вскочила. В глаза её ударил свет: из спальни выходила старушка — в одной руке она держала ла́мпу, а друго́й протягивала Сте́фке како́е-то по́лено.

— Пьяный он, — сказа́ла стару́шка. — Возьми-ка вот это, де́вушка...

Сте́фка обнару́жила, что по́лено — во́все не по́лено, а авто́мат, тот, наве́рное, о кото́ром Ко́стя прожужжал ей все уши. Она с опаско́й ошупала гладкую ло́жу, холодно-ватый ко́жух ство́ла и вдруг сообра́зила, что на́до де́лать. Отпрыгнув к поро́гу, она на́ставила ору́жие на визжащих и пы́хтящих Ко́стю и коменда́нта.

— Отчепи́сь! — резко крикну́ла она пер́вое, что при́шло ей в го́лову.

— Пьяный он, связа́ть его на́до, — сказа́ла Марковна споко́йно и да́же уча́стливо, бу́дто ре́чь шла о како́м-то бу́яне на мирно́й ве́черинке или сва́дьбе. — Ну, че́го разбушева́лся? — спроси́ла она, скло́нившись над сво́им хо́зьином.

Ко́стя взял из ру́к стару́шки како́ую-то тря́пку, ка́жется, по́лоте́нце, и нача́л связа́ывать коменда́нту ру́ки.

— Ста́рая змея́! — крича́л Ма́дук. — Пригре́л те́бя на сво́ю го́лову! Повеси́ть ма́ло!

Костя встал, тяжело дыша. Волосы его растрепались, ремни съехали. Он отыскал свою кубанку, взял у Стефки автомат, щёлкнул затвором, наставил на коменданта:

— Вставай! Выходи!

— Сынок, дочка! — запричитал Мацук. — Простите, перепил я... Свой же я, русский!

Он кинул своё тяжёлое тело под ноги Кости.

— Не убивайте! Я ненавижу немцев!

Костя брезгливо пятился, и лицо его было застывшим, каким-то бело-каменным. Стефке хотелось одного: скорее уйти отсюда.

— В штаб тебя поведём, — сказал Костя. — Там разберутся.

«В какой штаб? — подумала Стефка. — Уж не к нам ли в сарай? Что он надумал?! Ненормальный!»

Они вышли. Холодная осенняя сырость липла к лицу, к рукам.

Арестованный шёл на шаг впереди — его нельзя было пускать дальше — туман был густ, плотен. Стефке всё вокруг казалось призрачным, нереальным. Ей было дурно, подкашивались ноги.

— Зачем ты его взял? — шепнула она.

— Надо.

И опять шли молча. Миновали гладкие выгоны, вошли в какие-то кочки. Справа точно проплыла мимо чёрная и будто бесформенная баржа. Стефка сообразила, что это был кустарник.

— Ложись, — тихо скомандовал Костя.

Арестованный присел на корточки. Стефка за полу шинели оттянула Костю чуть в сторону, зашептала жарко:

– Куда ты его?

– На Луну.

– Как на Луну?

– Ну, понимаешь, он же гад! Продажная шкура!

– Ой, Костя, не надо! Может, он исправится? – Она сказала это так, как ещё недавно говорила на школьных собраниях об ученике, которого «прорабатывали».

Костя молчал.

– Ой, страшно как... Не надо, – снова шепнула Стефка.

Костя ничего не ответил.

Раздался резкий треск – коменданта будто кто толкнул в спину. Он раскинул руки, шагнул два-три шага и сунулся лицом в землю.

Стефка ойкнула, закрыла глаза, присела.

– Пойдём скорее! – трогая её плечо, сказал Костя. От него пахло сгоревшим порохом.

Они шли без дороги, напрямик, молчаливые и чуть отчуждённые... Костя беспокойными руками поглаживал автомат, словно хотел ещё и ещё убедиться, что вот оно, это дорогое, наконец-то у него в руках. А Стефка не могла отделаться от ощущения, что за её спиной неотступно стоит что-то страшное...

9

Тяжело и глухо шумит лес. Плывут над ним глыбы набухших туч, будто готовые вот-вот свалиться, смять деревья и обрушить их на ветхие шалаши. Ветер, не в силах пробиться сквозь толщу леса, досадно постанывает в вершинах деревьев.

Вечереет. Или только кажется, что вечереет — каждый час такого дня можно принять за предвечерний.

Откинув плащ-палатку на гребень шалаша, Борков вышел в лагерь. В запахе смолистого дыма угадывались и другие: прелых вонючих портянок, подгоревшей каши. Костры горели почти около каждого шалаша. Над огнём висели закопчённые котелки и ведра, чайники и чугуны — варился ужин.

«Надо бы общую кухню, — подумал Борков. — Неудобно, когда каждый сам себе повар». Он сделал несколько шагов, рукою отводя от лица колючие ветки. «Ну и погода! Чтоб её... Как окаянное», — одновременно и о погоде, и о нестерпимо ноющем сегодня плече подумал Борков.

— Дежурный!

Подбежал партизан Дзюба — в чёрном кожушке, зелёных бриджах и сапогах со шпорами, чётко, но неумело козырнул:

— Слухаю, товарищ командир!

— Прикажи, чтоб костры тушили.

Губы дежурного по-волевому сжаты.

— Есть! — он резко повернулся, звякнул шпорами и не пошёл, а побежал от Боркова.

«Красивый парень, — подумал Борков. — Как у него всё ладно получается. Я так, наверно, не сумел бы...»

Дзюба шагал между костров, и до Боркова доносился его звонкий начальственный тенорок:

— Хлопцы, командир приказал тушить костры, бо вже скоро ночь и их далеко видно. И с земли, и с воздуху!

— А где портянки досушивать?

- Хорошо, у командира сапоги не промокают...
- Портянки солдат под боком сушит!
- Дай хоть картошку доварить!
- В животе доваришь. Тушить, тушить костры!

Борков смотрел на всё внимательными хозяйскими глазами. Блекли костры. Люди ужинали, укладывались на ночлег — или в шалашах, или на тёплых кострищах, сдвинув с них угли.

Полторы недели назад Борков пришёл сюда с несколькими товарищами — и вот теперь здесь уже добрый взвод. Люди от шестнадцати до шестидесяти — коммунисты, комсомольцы и беспартийные, колхозники, учителя и агрономы, профессионалы — военные, бойцы, попавшие в окружение. И ещё придут, не могут не прийти...

Но не численность заботила сейчас командира. Товарищество, не сдавшее боевого экзамена, — ещё не товарищество.

«Не допустить бы ошибки, — думал Борков. — Первое боевое дело должно быть обязательно успешным. Победа такая, о которой долго бы рассказывали партизаны, смеясь и подмигивая, — вот что теперь нужно. Только победа! До зарезу!»

Борков подошёл к своему шалашу. Угли потухающего костра светились фиолетовым пламенем. На зелёных ветках сидел Гаркуша, уткнувшись в блокнот и вертя в руках карандаш. На лице его играли красные отблески огня.

- Ну как, закончил, Гордеич?
- А вот слушай. Объявление.
- Что, что?

– Объявление...

Борков усмехнулся.

– Это когда в колхозе собрание или сход на селе – тогда пишут объявления. А мы – люди военные, приказы должны писать.

– Я всё по-старому, как голова совета.

Теперь ты – комиссар отряда.

– Ну, слушай дальше. «Населению временно оккупированной территории. Дорогие товарищи!...» – читал Гаркуша горячие слова первого приказа партизанского отряда.

10

Рано утром дежурный приоткрыл вход в штабной шалаш:

– Товарищ командир, тут один дед к вам просится.

– Что ещё за дед? Пусть входит.

Услышав густой, басовитый голос Игнатия Силко, Борков обрадовался.

– Не пускать, меня?! – гудел Игнатий. – А того не ведаете, кем я вашему командиру довожусь? Может, отец родной или больше! То-то!

Войдя в шалаш, Силко снял свою опалённую ещё карпатскими дымами папаху, чинно подал руку Боркову, потом Гаркуше:

– Слышал, в комиссарах ходишь? Это лучше, чем в яме ховаться. Сдаётся, сразу и помолодел, Гордеич. Вишь, усы в кольца выются!

– От настроения, Игнатий Савельевич.

– А тебя, Борис Ильич, мне по важному делу. Выйдем.

– Говори, мы с комиссаром друг от друга ничего не таим.

Игнатий покосился на Гаркушу, замялся, присел на чурку, вздохнул.

– Стефка-то что наделала... Совсем девчонка от рук отбилась. Костя её сбил с панталыку.

– А что случилось? – встревожился Борков.

Но Игнатий не любил речей без предисловий.

– Сколько разов я ей говорил! Только что палка по ней не ходила, а слова всякие были. Теперь жалкую, что не ходила. А этот Костя, этот Еруслан... Оплёлся ремнями, где-то маленький пулемётик раздобыл и ходит как гусь, шею поднял, земли под собой не разглядывает! А в голове – сквозняк прогуливается!

– Да в чём дело? – не выдержал Борков.

– Ушла Стефка. Сманил он её. Ушла – и неведомо, где теперь. Пошёл вот искать её. Не у вас, случаем?

– Нет, не у нас. Давно ушла?

– Тому три дня. Не пускал я её. Да куда там! На фашистов иду, кричит, клятву дала!

– Клятву? – повторил Борков и вспомнил, что Костя тоже говорил что-то о клятве. «Неужели у них организация? Ах ты, пацаны!.. А я, дурак, проморгал, отпугнул, кажется, Костю...»

– Приказ бы ты дал строжайший – назад чтоб пришла. Какой из неё солдат? Смех один! – Игнатий осклабился, показывая прокуренные зубы.

– Если бы я и знал, где она, всё равно не дал бы такого приказа. Запретить ей бить врага – вы что, Игнатий Савельевич? Разве ж можно такое?

- Да кого она убьёт? Она курицу боится зарубить.
- То – курица! – вмешался Гаркуша. – А то – фашист. Разница есть. Понимать надо, Игнатий Савельевич.
- Игнатий с удивлением посмотрел на Гаркушу.
- А не зря ты в комиссары заступил, Гордеич, ей-богу, не зря! Смыслишь! Что же, коли так... Пойду.
- Куда?
- Искать. Вчера, слышно, в совхозе кто-то лошадей немецких из конюшни увёл. Думаю, Еруслан этот.
- Да, разведка о лошадях доносила, – подтвердил Борков.
- Его рук дело, больше ничьих. Ох, набедокурит на свою голову! К вам ему прибиваться, а он что задумал – сам себе агроном! Зеленоват на такие дела!
- У нас к вам просьба, Игнатий Савельевич, – сказал Борков.
- Какая?
- Да такое... тонкое дело, – Борков замялся. – Как раз по вашим годам поручение.
- А что мои года? – Игнатий дёрнул плечами.
- Надо в Липках побывать.
- Зачем?
- Ну, найти какое-нибудь заделье. Хорошо бы, Игнатий Савельевич, пустить слух, что из этого леса партизанский отряд ушёл на Молодечно... Так пустить слух, чтобы он дошёл до немцев. Через какого-нибудь их прислужника.
- Не всякому слуху они верят... А вы будете здесь сидеть?
- Мы кое-что сделаем, чтобы подтвердить этот слух. Манёвр.

— Ну, что же, это можно, — Игнатий глянул из-под бровей повеселевшими глазами. — Пущу слух... Чтоб они боком лазили, эти ваши немцы.

11

Вороная кобылка грызла удила, время от времени дыбила уши, лояв стук дятла, щелчки падающих сучьев. Всадник — это был Костя — время от времени ласкал лошадь толстой плёткой, насвистывая лёгонькие мотивчики и улыбаясь своим каким-то мыслям.

В лесу, обступившем его со всех сторон, царили умиротворённость и тишина. Лесу чужды преходящие людские страсти. Он живёт своей вечной жизнью.

Давно уже исчез комар, мошкара, наступило сказочное время утренних туманов и рос. Из-под мохового ковра на Костю нет-нет да и глянут ягодки черники (точь-в-точь глазки голубя), мелькнёт и скроется тяжёлая кисть брусники, покажет свою яркую шляпу мухомор, позовёт к себе толстоногий солидный боровик... Но не до этого теперь Косте, другие думы одолевают.

С неохотой едет он к Боркову — только уступая настойчивым просьбам Стефки. На дню семь раз она спрашивает: «Когда же мы к Борису Ильичу?»

Ну что Стефка нашла в нём такого... героического? Сидит в лесу две недели и ещё просидит неведомо сколько. О нём не очень слышно, будто его и нету здесь. Тоже мне Денис Давыдов! Полководец лесной!

А может, у Стефки другие причины?

Выхаживала его, как же... Ну и... Если так, тогда — прощай, Стефка, прощай, Липецкий лес! Уйдёт Костя

куда-нибудь под Варшаву. И они, Борков и Стефка, ещё услышат о нём и пожалеют!

Почему он двинет именно под Варшаву, а не под Гомель, например, или Новогрудок, Костя и сам себе не смог бы объяснить. Наверное потому, что «Варшава» звучит внушительнее.

«Явлюсь, спрыгну с коня, подойду к Боркову, руку подам: «Здравствуй, лесной полководец!» Так и назову — чтоб насмешку понял. «Вы, товарищ Борков, запрещали мне убивать врага, а я всё-таки убил его. И вот он, автомат. А может, вы нуждаетесь в конях? Могу подарить хоть вот эту кобылу. Прихватил попутно в немецкой конюшне...»

Вороная вдруг наострила уши, вытянула шею, перестала грызть удила. «Ага, значит, скоро отряд. Чует, умница». — Костя погладил шею лошади.

Из-за ели выскочил человек и схватился за уздечку. Костя вздрогнул — так неожиданно всё произошло. На партизане — чёрный клёш, бушлат, бескозырка, грязная тельняшка.

— Кто такой? — спросил моряк, не отпуская уздечки. На боку у него болтался кривой нож с широкой костяной ручкой, на которой что-то вырезано.

Костя перегнулся через шею лошади, смог прочесть: «Смерть собакам и немцам».

— Почему «собакам»? — спросил он. — Собаки не фашисты.

— А это наше дело, — грубо ответил моряк. — Кто такой? — нетерпеливо повторил он.

— Комсомольская группа. Слышали?

— Нет.

- Ну, мы вот недавно коней забрали у немцев.
- Так это вы? Молодцы! – Моряк широко улыбнулся.
- А к нам зачем?
- Познакомиться.
- Правильно! В гости, значит?
- А может соединиться?
- Подумаем.

Костя тронул вороную, поехал шагом. Моряк с пышным чубом и неестественно горящими на землисто-сером лице глазами не выходил из головы... Не давал покоя нож со странной надписью. Позднее Костя узнал, почему на рукоятке ножа так неодобрительно упоминались собаки. Оказывается, матрос бежал из плена, из-под Кёнигсберга, нож отобрал у одного помещика. И когда пробирался ночами из Пруссии, собаки не давали ему житья, демаскировали – вот и вырезал.

Около штаба Костя выкинул из седла своё лёгкое тело, но пятки всё-таки отбил. Оглядел шалаши, в два ряда выстроившиеся на пригорке, запихнул подальше внутрь колкую зависть к Боркову.

Борков вышел навстречу. И пришлось перед открытой палаточной дверью шалаша произнести:

- Разрешите?
- А, рыцарь? Давно жду! – Борков шагнул, протянул руку. – Слышал о твоих подвигах – и с Мацуком, и с лошадыми. Герой, ничего не скажешь.

В зелёных глазах, чуточку суженных, – усмешка. Эта морозная усмешка словно выставляла напоказ все тайные движения Костиной души – он ёжился, но не находил, что бы такое веское ответить Боркову.

– Что вы со мной... как с пацаном? – резко сказал он.

– Не надо соваться раньше времени, куда не следует. Почему я запретил тебе идти к Мацуку? А потому, что скоро мы всем отрядом двинем на Липки.

– Но ведь Мацук такая сволочь! Шкура продажная! – перебил Костя.

– Знаю. Но мы хотели сразу всё их гнездо – под корень. Подожди вот, развернёмся только, будем бить этих гадов и по одному, и пачками – как говорят, сколько под руку подвернётся. Но первое наше дело надо провести неожиданно, чтобы оно ошеломило врагов. Понимаешь? А ты всполошил немцев, теперь они настороже.

Раскаяние охватило Костю. Он переминался с ноги на ногу, менялся в лице, но признать вслух, что был неправ, не мог. Что-то мешало...

– Где Стефка? – спросил Борков.

Костя поглядел на него подозрительно.

– Со мной. И ещё четверо ребят, комсомольцев.

– Зачем ты приехал?

Костя молчал. Пауза затягивалась.

– Соединиться? – снова спросил Борков.

– Не знаю, как ребята.

– Твою группу мы используем в разведке, – пообещал Борков. – Ребята местные, всё знают.

Костя повеселел.

– Если в разведку, то соединяемся.

– Надо тщательно изучить гарнизон Липок, – продолжал Борков.

– Они там уже роют, – заметил Костя.

– Что роют?

– Окопы.

– Я так и предполагал! Ну-ка, давай поползаем по карте. – Из кирзовой сумки он достал истрёпанную двухвёрстку¹ и разложил на столике.

...Через час Костя возвращался к своей группе. Лес словно раздвинулся. В воображении вставали Липки, их улицы и закоулки. И сам Костя бежал по этим улицам и поливал направо и налево из автомата...

Одно лишь беспокоило Костю – суховатая сдержанность Боркова. Улыбается ли когда, радуется ли чему этот человек? Даже не посмотрел на трофейную лошадь, на хрустящее новое седло. Ох, тяжело быть под командой такого человека!

12

– Уши! Уши! Козлиные уши! Кому козлиные уши, подходи!

– Махорка! Гродненская махорка!

– Немецкие спички! Десять штук на рубль!

– Сахарин, сахарин!

Хотя время теперь страшное, но торговки местечка Липки по-прежнему горласты. Орут, словно на настоящем довоенном базаре, шумном, цветастом, весёлом. А базара-то как раз и нет: горстка людей плюс пять подвод из деревень (в обмен на продукты, что запрятаны далеко под соломой, надо достать спички, соль, всякого шильца-мыльца)... Какой это базар? Да и кому ехать на этот базар?

¹ Двухвёрстка – географическая карта, выполненная в масштабе двух вёрст в дюйме.

Минск был занят противником в первые дни войны, из деревень почти никто не успел эвакуироваться. Снявшиеся с мест люди по всем дорогам брели на восток, многие из них погибли, а те, кто остался в живых, вернулись в свои углы.

Шла осень сорок первого года.

– Уши! Уши! Козлиные уши! Одна марка или десять рублей! Мягкие и тёплые уши!

Это кричит Стефка. Две толстые косы до талии свисают из-под белой заношенной шали. Старый кожушок с вытертой опушкой туго облегает стан. Серые длинные глаза диковато насторожены.

– Козлиные уши! Мягкие уши!

Совсем недавно она увидела в своём селе молоденького краснощёкого солдата в щегольской пилотке. Чтобы не мёрзли уши, солдат раздобыл где-то вязаные пуховые наушники...

Выслушав от Кости задание Боркова, Стефка решила, что очень хорошо будет явиться в Липки с дюжиной таких наушников. Двенадцать бабушек, по строжайшему приказу Кости, засели за прялки, потом взялись за спицы — и товар вскоре был готов. Вещички получились удивительно мягкие, ласковые. А тёплые какие — сожмёшь в руке и точно держишь малюсенького живого цыплёнка. Стефка была уверена, что такое добро заинтересует зябких немцев.

– Уши! Козлиные уши!

Она купила стакан семечек и, расхаживая по базару, все время лузгала их — это чуточку успокаивало её.

На конце длинного стола, что стоит под навесом, сидела цыганка — молодая, с крупными монистами¹ на шее, в дюжине юбок, широченных, со складками и разноцветными оборками. Около неё толпились зеваки. Стефка остановилась и прислушалась.

— А ну, позолоти ручку, не скупись... Клади пять рублёв, бриллиантовый мой... А скажу я тебе всю правду. С дамами ты гулял — как в карты играл... Языком ты лепеткой и душой простой... Есть у тебя одна коренная, другая — пристяжная... И проживёшь ты долго, если тебя не застрелят... Ждёт тебя дальняя дорога и немецкий казённый дом...

Вдруг что-то произошло. Базарчик примолк. Стефка увидела: к нему подходили три немецких солдата.

Они показались ей высокими, хотя были обыкновенного роста. Молодые, розоволицые, в ладно подоогнанных голубоватых шинелях, в начищенных до блеска сапогах с широкими раструбами, они шли легко и быстро, весело болтая на своём языке. Все трое были в пилотках, и один из них то и дело прикладывал ладонь к уху. «Ага, холодно!» — подумала Стефка. Ощувив под ложечкой какой-то жуткий и радостный холодок, она быстро пошла навстречу солдатам, крича:

— Уши! Козлиные уши!

Между ней и солдатами оставалось уже несколько шагов, когда она увидела вдруг, что у всех у них за плечами — винтовки, и эта вначале незамеченная обыкновенная подробность поразила её, она оторопела

¹ Монисто — ожерелье (из бус, монет или каких-либо разноцветных камней).

и остановилась. Мелькнула мысль — повернуться, побегать прочь от этого места, но та жуткая и одновременно радостная взволнованность, которая теперь руководила ею, снова толкнула её вперёд, к солдатам.

— Вот козлиные уши! Одна марка за штуку!

Она подняла один палец, чтобы солдаты поняли, за дёшево продаются эти красивые и добротные вещи.

А солдаты уже щупали наушники и примеряли их. Теперь она пожалела, что в школе плохо учила немецкий (по этому предмету у неё всегда было «посредственно») и не могла понять, о чём они говорили, но по их весёлым и довольным лицам, по часто повторяемому слову «гут» догадывалась: наушники нравятся. Перед её глазами мелькало три лица, но так как она боялась смотреть на них, они казались ей одним сплошным зыбким розовым пятном. Солдаты сунули ей в руки деньги, и один из них кивнул головой, показывая, что ей надо идти с ним.

Она шла позади, созерцая его длинную гладкостриженую шею, угловатые плечи, по-девичьи затянутую талию. Почему-то бросились в глаза два крючка, поддерживавшие сзади ремень. «Щеголь, — подумала она. — Совсем как Костя». И она стала думать о Косте: как он был бы рад, если бы сейчас знал, что у неё все идёт удачно.

Они прошли мимо клуба, вернее, помещения, которое ещё недавно было клубом, и Стефка заметила около скверика высокий столб и положенную на него с одной стороны перекладину, так что образовалось подобие буквы «Г», с распоркой в углу. Раньше тут этого столба не было. Страшная догадка о назначении этого столба повергла её в смятение. Она почувствовала, как

слабеют ноги, и на секунду приостановилась, озираясь, цепляясь взглядом за ограды домов, — где бы спрятаться, затеряться.

— Ком! Ком! — обернувшись, сказал солдат. — Шнель!

Этот неуважительный привычный окрик вдруг придал ей силы. Она стала думать о немцах, о виселицах и расстрелах... Казалось невероятным, что всё это делают люди, один из которых шёл теперь впереди неё... Да, невероятно, но они всё-таки это делают. И она вдруг подумала о себе: хорошо, что пошла сюда, в Липки, хотя идти было очень страшно, хорошо, что пошла с Костей в партизаны, хотя оставлять дедушку совсем одного было с её стороны порядочным таки свинством...

Теперь она шла смелее. У неё чуть подрагивали руки, замирало сердце, и холодок веял за воротником и ниже, как будто кто-то положил туда ледышку, которая таяла и не могла растаять.

Солдат подвёл её к школе, в которой ещё так недавно она училась. Со стороны улицы здание было обнесено глухим забором, и на заборе теперь появилась колючая проволока. «Три проволоки, — отметила про себя Стефка. — И высота будет метра два». У ворот стоял часовой. Солдат что-то переговорил с ним и исчез за воротами. Стефка развернула узелок, показала часовому свои сокровища и тут же — как только у неё поднялась рука — сорвала с него пилотку и надела ему на голову беленькие наушники.

— Гут, гут! — деревянно засмеялась она.

— Данке, — улыбался он.

Стефка решительно шагнула в ворота и оказалась в школьной ограде. Её длинные глаза блеснули. Ограда была завалена штабелями набитых мешков. «Что за мешки? С чем?» Она подошла ближе и увидела, как из одного через дырочку струился песок. «Зачем песок?» Сотни парт были вынесены из школы и поставлены к забору — одна на одну. Она поняла, для чего: забравшись на парты, можно стрелять из ограды. «А мешки, наверное, в окна хотят класть...»

Из школы выбегали солдаты. Стефка оказалась в их кольце. И опять пожалела, что плохо знает язык.

Один из солдат коснулся пальцами её подбородка, приподнял её лицо, что-то весело говоря под смех остальных. Стефка стукнула его по руке — он притворно вскрикнул и, потирая руку, всё улыбался...

Наушники быстро раскупили.

В руках у неё хрустели новенькие немецкие марки. Завернув их в тряпицу и сунув узелок за пазуху, она пошла из ограды. Но вдруг на её плечо легла рука. Стефка вздрогнула, резко обернулась: перед ней стоял солдат с нашивками на погонах. «Старший», — подумала Стефка и побледнела. Солдат вынул книжечку и начал листать её, видимо, отыскивая слово, которое хотел сказать. Наконец он нашёл его.

— Ешчо. Фарштейн? Ешчо? — и он показал на уши. Она поняла, как-то мучительно улыбнулась и кивнула головой.

— Принесу, — сказала она. — А сколько? Сколько ещё надо?

Но солдат повернулся и пошёл к дверям школы.

Проходя ворота, Стефка бросила часовому: «До свиданья, пан!» и подумала о том, что сказала, наверно, правду: почему бы не прийти сюда ещё раз?

13

В степи уже совсем прояснели горизонты, а в лесу ещё сумрачно. Тысячи теней слиты в одну. Только верхушки деревьев обозначились на посветлевшем небе. Все птицы уже перебрались на вершинки — ждут солнца.

Костя обнял холодную сталь автомата, но руки зябли от железа, и он положил автомат под голову, засунул руки в рукава. Стефка, кажется, ещё спит: в её шалаше тихо.

А Костя с полночи начал ворочаться. Воображение его рисует одну картину за другой... Бой в Липках. Стрельба, взрывы гранат, дым, крики... Не он ли это лежит, распластавшись, и волосы его, его мягкие волосы с медно-жёлтым отливом, упали в дорожную пыль? Над ним склоняется Стефка. Подбегают товарищи, осторожно подымают его и несут на руках... Из глаз Стефки вот-вот брызнут слёзы. Она поправляет растрепавшиеся запачканные пылью волосы Кости и думает о том, какой, в сущности, он прекрасный парень, жалеет, что была с ним холодной и гордой...

Разведка Липок проведена. И Стефка, и сам Костя, и его друзья не раз побывали в местечке. Кажется, всё узнано и обо всём доложено Боркову. Долго же он не мог решиться! Хмурился, молчаливо посасывал самокрутки. Тугодум несчастный! Всё-таки и до него дошло, что люди заждались приказа, рвутся в бой.

Да, скоро будем праздновать победу... Костя ясно видит себя вихрем, влетающим в здание жандармерии, слышит суровые слова своего приказа: «В вашей хате — советская власть! Ни с места! Сдать оружие!» Как радостно забьётся его сердце, когда он будет стоять победителем перед врагом!

— Вихрянов, к командиру! — доносится до Кости голос дежурного.

Мысли обрываются. Он вскакивает. Совсем светло. У костров ёжатся озябшие люди, протягивают над огнём руки.

Костя заправляет шинель под ремни, забрасывает на плечо автомат.

— Иду!

От Боркова он возвращался быстро. Стефка уже встала, умывается около шалаша холодной, со льдинками, водой.

— Ну, Стефа, я ухожу с хлопцами.

— Куда?

— По важному заданию. — Он берет её руку, ещё не обсохшую, красную и холодную, и зажимает в своей горячей ладони. Вопросительные глаза девушки откровенно тревожны.

— А я? — спрашивает она.

— Приказано не брать.

— Почему?

— Жалеет тебя Борков. — Костя как-то противно подмигивает, вертит растопыренными пальцами у своего лба.

— Дурачок! — бьёт она его по руке. — Что ты выдумываешь!

Костя веселеет — и от её шлепка, и от «дурачка», сказанного так ласково, певуче.

Она делает шаг к нему и чуть касается своими всё ещё холодными пальцами его руки.

— Ты смотри, Костя, тебе тормоза нужны, как Борис Ильич говорит. Тормози! Я прошу тебя, понимаешь? Не суйся, куда не след.

Она так заглянула в его глаза, что у него вроде бы и в голове помутилось — он веками захопал.

— Мы не лопоухие! — залепетал он. — Ну, в общем... На нас немцы ещё пуль не наделали!

Стефка уходит — ей надо на кухню.

А через десять минут группа Вихрянова — шесть человек — покидает лагерь.

Когда вышли на накатанную дорогу, остановились.

— Перекур, — сказал Костя. — Завтракать будем в вёске. Командир приказал добыть на весь отряд фурманки¹. Куда махнём?

Присели у дороги. Дымок от самосада тянуло вверх к вершинам сосен, и он смешивался там с лёгким туманцем.

— А зачем фурманки? — спросил Франк, паренёк из Козевич, приставший к группе во время последней операции, когда брали с конюшни лошадей.

— Значит, надо, — сказал Костя. — Говорит, чтоб фурманки были — и точка.

— Что же ты не спросил?

— Не положено. С командиром как надо? Козырнул и точка. «Есть!»

¹ Фурманка — малая (извозчичья) бричка.

Любопытного Франка не убедили его слова.

— А с хозяевами брать повозки или нет?

— Ну что ты причепился?!

— Говорили, что мы разведчиками будем, а выходит — обозниками? — съязвил Франк.

— Тебе сразу в герои хочется? У тебя же пальнуть нечем! — заметил Стась, самый старший и рассудительный в группе. Действительно, у Франка был изящный лёгкий и короткий французский карабин с одним-единственным патроном. Ему очень хотелось сменить эту «почти палку» на настоящее оружие, и он рвался из лагеря на «хорошую операцию». А тут вдруг какие-то фурманки.

— А машину не заарестуем? — снова спросил он.

— Какую машину?

— Да я знаю. На станции охранная команда живёт, пленные поляки. И на машине у них ездит поляк, в немецкой форме.

— Врёшь! — сказал Костя.

— Сам ходил туда и бачил¹.

— Куда он на ней ездит?

— На кирпичный сарай. Будку строят.

У Кости полыхнуло в груди от неожиданно привалившего счастья.

Весь день они пролежали на опушке леса, строили планы поимки машины.

Можно было сделать засаду, обстрелять её. Но остановится ли она? А если и остановится — может оказаться повреждённой.

¹ Бачил — видел.

Можно подловить грузовик по-другому: не стрелять по нему, а выйти на дорогу и, угрожая оружием, остановить. Но опять же не было уверенности, что шофёр испугается и подчинится. «Чёрт его знает, что он за поляк, может, фашист настоящий».

Спокойный и мудрый Стась предложил, пожалуй, самое верное: подстеречь машину на кирпичном сарае.

Сливаясь с густой, мглистой и холодной тьмой, они всю ночь шли просёлками и тропами. Переползли через высокое железнодорожное полотно и к утру засели под соломенной крышей, между штабелями кирпича-сырца. Сарай стоял на взгорке, насквозь продуваемый ветрами. Вздремнуть не удалось. Да и какое тут «дремать», когда зуб на зуб не попадает. И главное — рядом просыпался уже пристанционный посёлок.

Только сухим поздним утром загудела в посёлке машина. Да, она шла сюда, унылый гуд её нарастал.

Долго же она идёт! Как будто на волах её тащут. С ума сойти можно!

Шофёр затормозил у печи, наполненной обожжённым кирпичом. Из кабины вышли двое в немецкой форме, один из них держал за плечом винтовку. И тотчас выскочили из разных углов бесшумные существа, похожие на привидения, навалились на них... Франк сразу вцепился в винтовку: «Моя! Моя!» — кричал он, хотя никто другой не посягал на неё.

Обмякших, потерявших дар речи пленников уволок под крышу, чтобы допросить и самим отдышаться, прийти в себя.

В школе Стефка с завистью и восхищением смотрела на своих сверстников, чем-то выделявшихся: способностью к какой-то науке, музыке или рисованию. Таких школьников было немало.

В себе же она не находила никаких талантов, ниче-гошеньки. Странная она была, эта Стефка. Считала себя страшной трусихой. И хоть в иные моменты проявляла она завидную находчивость, ловкость, смелость, но как-то не замечала за собой этих способностей.

Играли ребята в прятки на задворках, и соседний мальчик Колька вдруг заорал, точно под ножом, заскакал на одной ноге, упал на землю. Сбежались все, ахали и охали: у Кольки в ноге, в подошве, торчал большой ржавый гвоздь. Никто не знал, что делать.

Стефка присела перед Колькой на корточки: «Цепляйся за шею!» Ах, откуда взялась у неё сила?! Груз был не по её узенькой спине, не по её хрупким плечам. Подламывались ноги, сердце билось где-то в горле, и казалось, сейчас-сейчас вся она разорвётся от внутреннего напора крови. Но она донесла, нет, домчала Кольку — прямо к сельскому фельдшеру дяде Афоне...

А потом рассказывала подружкам, как ей было страшно, как трусила она, пока тащила на себе этого Кольку: боялась, что он зайдётся в плаче, умрёт.

Случилось со Стефкой и такое, что она стыдилась вспоминать, хотя, если бы об этом рассказала соклассникам, прослыла бы героем, — история с окном.

В школу приехала новая математичка, молодая девушка, очень подвижная и горластая. Первые уроки её были терпимы, восьмиклассники понимали её. Но

дальше пошло хуже. Всё чаще раздавались в притихшем классе обидные слова, как камни, бросаемые учительницей: «Позорники!», «Тёмный лес!», «Двенадцать часов ночи!» Ида Петровна стучала мелом по доске, мел крошился и кусочками падал на пол. На объяснение нового материала у неё никогда не оставалось времени! Гремел звонок, она говорила: «Дома разберётесь». И написав на доске номера задач и примеров, удалялась...

Прошёл месяц, другой, третий. Даже лучшие школьные Пифагоры потеряли интерес к решению задач, потому что «плавали» в математике «без руля и без ветрил». Класс встречал учительницу настороженной враждебностью. За глаза её уже перестали звать по имени-отчеству, пошло гулять по школе прозвище «Каралька», намёк на её кривоватые ноги. А как она изводила учеников низкими отметками и оскорбительными словами!

И вот тогда-то у трёх подруг – Стефки, Зои и Ольги – родился план мести. Долго они вынашивали его, мучаясь и заранее торжествуя. «Пострадаем за всех, – говорила смешливая Зойка. – Не пощадим жизнью своих цветущих».

Тёмной осенней ночью (выпавший снег растаял, и ботинки хлопали по лужицам) они подкрались к квартире Каральки, к палисаднику. За оголёнными ветвями светилося окно. «Ах, девочки, я боюсь», – шептала Стефка.

Дух захватывало от опасности. Кто же, кто же поднимет руку?

И первой оказалась Стефка. Звон разбитого стекла преследовал убегающих и потом ещё долго стоял в их ушах как стыдная, но победная музыка...

В школе это событие вызвало переполох. Почти всех мальчишек перетаскали в учительскую, к директору. Каралька ходила примолкшая, с заплаканными и злыми глазами.

А через несколько дней она уехала — без прощания и огласки, внезапно. Класс облегчённо вздохнул. Великая тайна трёх осталась нераскрытой...

И только одному Косте Стефка рассказала о ночном своём походе.

Они шли из Липок домой, в своё село. Накануне Костю два часа держали в учительской, добиваясь признания. У директора были некоторые основания подозревать Костю: был тот мальчишкой дерзким, прямым, с Идой Петровной «конфликтовал» больше, чем другие. Она не раз говорила директору: «Надо исключить этого ухаля из школы».

— А ведь это сделала я, Кастусь, — сказала Стефка.

— Что сделала?

— Ну, окно разбила... у Каральки.

Костя даже приостановился и присвистнул.

— Стой! — он схватил её за руку. — Врёшь, Стефка!

— Дали-бог!

— Да как же это? Умора! — и расхохотался.

15

Группу Кости ожидали в отряде к рассвету, но вот уже и позавтракали, а она не возвращалась. Борков беспокоился. Прохаживаясь по бугру вдоль шалашей, он поглядывал на затуманенную ложбину, где пролегла дорога и откуда должны появиться фурманки.

Борков подумывал уже о том, не послать ли человек двух в вёску, что на опушке леса, — поразведать о Костиной группе, но решил ещё ждать и, посмотрев на часы, пошёл в свой шалаш.

— Нету? — спросил Гаркуша.

Борков дёрнул плечом. Сел, расстегнул планшетку, уткнулся в бумажки.

В эти дни подготовки к операции в Липках он не забывал о Стефке: поручил ей подготовить бинты, ножницы, добыть йоду. Всё это она сделала. Брать ли девушку в Липки? Ему не хотелось. Конечно же, в свою группу, которая будет штурмовать гарнизон, засевший в здании школы, он её не возьмёт: слишком опасное дело. Но ведь она непременно будет проситься, не отстанет... Придётся включить её в группу комиссара, которой поставлена более лёгкая задача: блокировать охранное отделение, окопавшееся на окраине Липок, там, где лес вплотную подходит к селу. Блокировать для того, чтобы эти немцы, когда начнётся бой в школе, не снялись и не ударили в спину борковской группе.

— Гордеич, я тебя ещё раз прошу: не лезьте в драку с этими немцами, только удержите их на месте. Постреливайте время от времени, но не атакуйте.

— Понятно же давно!

— И возьми с собой Стефку. Только не отпускай от себя, ну, в общем, понимаешь?

— Чую, чую.

Зашуршала и откинулась палатка-дверь.

— Разрешите доложить, товарищу командир!

В голубом проёме стоял Вихрянов.

– Костя! – крикнул Борков. – Прибыл?

– Пригнали автомашину. Шофёр в немецкой форме, поляк. И с ним ещё немец. Что делать дальше?

Костя чётко отставил левую ногу, щёлкнул по ней правой и резко опустил от кубанки руку. Вот сейчас командир подойдёт и расцелует его, обнимет...

– Где машина?

– На опушке, сюда побоялись ехать – вы могли нас обстрелять.

– Удача, – сказал Борков. И к Гаркуше:

– Видишь, Гордеич, война состоит из случайностей, наша партизанская война.

– Да, – подтвердил комиссар. – Случаи всякие бывают.

У Кости в глазах появляется скука, разочарование. «Удача». Так холодно, так спокойно. Толстокожий тюлень! «Удача». Да это же песня, сказка! А он – «удача». И даже руки не пожал. Ему убей Гитлера, он вот так же холодно скажет: «Удача». Кирпич! Сухарь!

– Идите к группе. Возьмите на всех обед. Часа через два я к вам приду. Как вас найти?

Костя рассказывает нехотя, без воодушевления. И только когда выходит из шалаша и видит окруживших его партизан, даёт волю языку и воображению.

16

Со стоном гудит мотор. Веером летят из-под колёс брызги гравия. Бегут навстречу телефонные столбы. Костя жадно смотрит вперёд. «На Липки! На Липки!» – будто

шепчет встречный ветер. В висках постукивает. Руки крепко сжали автомат.

Первый большой бой! Жутковатый страх порою захлестнёт сердце, но надежда вдруг согреет его, а радость заставит забиться часто-часто.

Хорошо, когда рядом — товарищи. Двадцать человек. Вот сидит «Морская пехота», на ремне болтается нож — «смерть собакам и фашистам». Обнял винтовку, закрыл голову бушлатом — одни глаза видны. Зоркие, злые.

Задача ясна. Открыто, под видом обыкновенных, «цивильных» людей подъехать к школе. Вбежать в ограду, забросать окна гранатами, ворваться в здание...

Стефка ушла с группой, которую возглавил комиссар. Ушли ещё с вечера. Они тоже подвинутся к Липкам, начнут стрельбу на окраине, со стороны леса. Там у немцев пост. «Отвлекающий манёвр», — сказал Борков. А Сухарь, оказывается, не так прост. Башковит, хитёр. «Отвлекающий манёвр». Полководец!

Сам Сухарь здесь. Во рту — самокрутка, зелёные глаза прищурены. Кажется, он о чём-то усиленно думает. На нём заношенный кожаный сапожок, шапка-ушанка (звезду снял), кирзовые сапоги с латками. Не умеет одеваться командир! Похож на колхозного бригадира. И кажется, едем мы не в бой, а на покос, что ли. И Борков сейчас думает, кого поставить копать, а кого — метать.

Машина вылетела на пригорок, и показались Липки. Белое здание школы возвышается над пёстрыми крышами хат.

Вперёд, вперёд! Вот уже и красная разбитая мельница, вот и мост. В этот утренний час на дороге пустынно.

Совсем рассвело, но солнца ещё нет. Село, должно быть, ещё спит. Спите, люди! Мы сами всё сделаем!

Мышцы наливаются беспокойной силой, всё тело — как сжатая пружина.

На окраине Липок маячит немец с винтовкой. Вот сейчас и начнётся. Костя сжимает в руках автомат. Но машина проходит мимо солдата. Он не задерживает её, увидев немецкую форму на шофёре. Все лица каменеют, и только Сухарь, улыбаясь во весь рот, машет солдату рукой и кричит во всё горло, как самому хорошему другу:

— Гутен морген!

Черепичные, тёсовые, железные, соломенные крыши хат мелькают так, что в глазах рябит. Тихо на улочках Липок, будто нет и никогда не было никакой войны.

Вой мотора резко обрывается. Борков вылезает из кузова и медленно, тихо, чуть прихрамывая, точно отсидел ногу, идёт к немцу, стоящему у ворот школы, что-то говорит на ходу. У Кости перехватывает дыхание! Вскинув автомат, он прямо из кузова стреляет в часового. Тот падает на руки. Костя бежит мимо него, вслед за Борковым, и слышит сзади топот десятков ног. Вот и окна школы. Высоко, но гранатой достать можно. Он нащупал левым большим пальцем чеку, рванул, услышал щелчок и, со всей силой размахнувшись, бросил лимонку в окно, а сам побежал к дверям. «Началось», — подумал он.

Когда он вбежал в помещение, там уже всё грохотало. Он совался в классы, что-то крича и отчаянно ругаясь, в дыму видел мятущиеся фигуры в чёрном и голубом — они бежали, стреляли, падали и вновь поднимались. А Костя нажимал и нажимал на крючок автомата...

Он видел Боркова, тоже что-то орущего, гневного, то появлявшегося, то опять куда-то убегавшего, видел своих хлопцев с выставленными вперёд винтовками...

Опомнился он, когда оказался в подвале, куда забежал вслед за немцем. Здесь в беспорядке были свалены сломанные парты, а в углу почему-то лежала горка соломы. Он услышал выстрел и почувствовал, будто его кто-то дёрнул сзади за руку. Он даже обернулся, но тут же мгновенно понял, откуда стреляли, прыгнул на солому, почувал под собой живое и навалился на него...

17

Придерживая раненую, перевязанную руку, Костя поспешно вошёл по ступенькам крыльца в районную больницу. Никого не встретив в коридоре, зашагал к дальней двери с эмалевой вывеской «главный врач».

За столом сидел низенький старичок в пенсне, заспанный, с фиолетовыми мешочками у глаз. «Неужели всё ещё утро?» — подумал Костя. Ему казалось, что отряд в Липках дерётся уже давно, а прошло всего лишь полчаса.

— Почему пусто? Где сотрудники? — загремел Костя.

— Мой юный друг, нельзя ли потише? — старичок встал и протянул Косте руку. — Чем могу быть полезен?

— Медикаменты для отряда! Приказ командира!

— Всё будет! — засуетился врач.

— Да перевяжите как следует руку, захватило маленько, — как бы между прочим добавил Костя.

Старичок засуетился около него.

За окнами хлопали выстрелы. Это всё ещё вела перестрелку группа комиссара. Что там со Стефкой? Скорее бы увидеть её.

— Всё готово, мой юный друг. И я готов! — напомнил о себе врач.

— С нами? — Костя удивлённо оглядел старичка.

— Думаю, пригожусь.

— Конечно, конечно, доктор! Одевайтесь!

У школы толпились партизаны. Наперерез Косте и доктору выбежал из переулка «Морская пехота».

— Какие новости? — спросил Костя.

— Да вот, — и матрос кивнул головой назад, через плечо: там у него висели две винтовки. — Добыл!

Борков стоял у машины. Он пристально смотрел в сторону бора. Время от времени вынимал из нагрудного кармана часы и поглядывал на них.

Выстрелы смолкли. И в тишине теперь слышнее стал стон раненых, лежавших в кузове.

— Вот врач, товарищ командир! — сказал Костя. — В отряд просится. И медикаменты.

— Лезьте в кузов, приступайте к работе, — сухо отрезал Борков, даже не посмотрев ни на Костю, ни на врача.

В голове Кости мелькнули вдруг картины боя в здании школы. Снова зазвенели в ушах выстрелы, крики, властные приказания Боркова, появлявшегося то здесь, то там.

Костю захлестнуло чувство восторженной любви к командиру. Ему захотелось сейчас же как-то выразить эту любовь. Он вспомнил, что там, в подвале, взял у пленного и сунул в карман маленький пистолет в изящной кобуре.

Он хотел подарить его Стефке. Но теперь определённо решил, что подарит Боркову. Сейчас же! Сию минуту.

Он вынул пистолет, подбросил на ладони и протянул командиру. Борков отвёл его руку.

— Что там такое? — тревожно сказал он.

Из-за угла сарая выходил Дзюба. Он нёс на руках Стефку. Безвольно висела её голова. Шагал он тяжело, осторожно, словно опасался неверным и резким движением причинить ей боль.

Костя рванулся было бежать навстречу Дзюбе, но не смог сделать и шагу.

Дзюба медленно печатал шаги, точно ноги у него были какие-то железные. При каждом шаге на сапогах его что-то брнчало. «Шпоры», — догадался Костя и вспомнил, как ещё вчера любовался этими шпорами и мечтал о таких же. «Нет, зачем шпоры пехотинцу?» — тоскливо подумал он. Дзюба остановился и долго смотрел на Боркова, смотрел тупо, как смотря в пустоту.

— Там, у окопов, — сказал он.

Но Борков смотрел в самые глаза Дзюбы. Он хотел знать больше. И Дзюба продолжил:

— Рвалась сюда, к вам... Говорит: «Там раненые!» Комиссар не пускал... Но потом разрешил ей идти — со мной... И вот, когда мы перебежали, её сразу... Видно, место у них было пристреляно.

— А где сапог? — спросил Костя (одна нога у Стефки была босая) и вдруг ужаснулся бессмысленности и нелепости своего вопроса.

Ему никто не ответил. Он глотал и не мог проглотить комок, который жёг горло. Наклонившись к лицу

Стефки, он взялся за растрёпанную косу и хотел её заплести, но одной рукой это было невозможно сделать. Он так и держался за косу, не решаясь выпустить её из рук.

— Несите в машину, — сказал Дзюбе Борков и положил руку на плечо Косте.

Костя почувствовал, как в кровотокащее сердце его входит что-то морозное, и от этого оно дубеет, ожесточается.

— Война, — тихо сказал Борков, сжимая Костино плечо.







ПЕТУШОК

Повесть

1

Хорошо же летом! Теплынь стоит, гуляй себе в одной рубашке, в тапочках или даже босиком, купайся сколько хочешь, рыбачь и загорай... Спи на воздухе, в сенках, в кладовке или сараюшке. Красота!

Зимой — совсем другое дело. В пятистенном домишке, где всего лишь кухня да комната, живёт сейчас их шестеро: мамина тётка баба Луша, дядя Софрон с тёткой Степанидой, их сын Егор и Вася со своей мамкой. Тесно. Дом-то бабы Луши, Вася с мамкой живут на правах родственников, на кухне жмутся. Васе больше приходится на печке «загорать», это его «дворец». Здесь он спит, читает книжки, задачки решает, даже упражнения по русскому выполняет — приспособился писать лёжа. Егор посмеивается над ним, на улице, среди ребят, обзывается:

— Вася, друг сердечный, таракан запечный!

Что ж, пусть таракан. Но куда деться, если другого места нет? Мамке на фабрике обещали квартиру, да неизвестно, когда дадут. Правда, ходит к ним Илья Никитич — у него жена умерла, один остался в своём

собственном доме, уговаривает мамку пожениться, да она не хочет. Правильно делает. Из-за квартиры, что ли, замуж выходить? А Илья Никитич прицепился, не отстаёт, почти каждый вечер является. Недавно принёс мяса кусок, подал мамке:

— Это вам в гостинец, Дуся, мякоть на котлеты, а косточку на суп. Сахарная косточка, наваристая.

— Вот как, — улыbnулась мать. — А я думала: мясо — кошке, кость — собаке...

Илья Никитич так засмеялся, что по тугим красным щекам слезинки потекли.

— Чудачка ты, Дуся!

Мамка никогда не провожала его, а на этот раз вышла вместе с ним, однако быстро вернулась.

Вот такая мамка у Васи, не больно-то ей нужны всякие ухаждёры и женихи. Она ещё папку ждёт, как и Вася.

Хотя война закончилась ещё весной, Вася часто думает: вдруг папка где-нибудь объявится живой и придёт. Вот другие, говорят, приходят... Везёт же людям. Вечерами, бывает, Вася долго стоит у ворот и вглядывается в каждого проходящего мужика: не папка ли?

— Мам, а что за косточка такая — сахарная? Что ли сладкая очень? — спросил он с печки.

— Это так мосол называют, сплошную кость, не трубчатую. У неё в порах мозг, и щи с нею, правда, вкуснее.

В эту ночь Васе снилась сладкая, сахарная кость, он долго грыз её.

Когда на кухонном столе нет ни мисок, ни чашек, Вася старается захватить его: тут светлее, чем на печке. Вася поскорее усаживается, раскрывает альбом с шершавой

серовой бумагой, кладёт коробку цветных карандашей «Пионер», резинку... Он рисует, когда остаётся один, и если кто-то вдруг зайдёт на кухню, тотчас закрывает альбом: смущает его посторонний глаз. Все домашние давно это поняли и стараются не мешать ему, только Егор надоедает, не отходит от стола, хоть что ты с ним делай. Прилип однажды, как банный лист: «Нарисуй меня. Если похож буду, тогда, значит, ты художник». Вася долго отнекивался, да разве Егор отстанет? Пришлось посадить его на стул и нарисовать в профиль. Очень похоже изобразил! Сидит Егор на стуле, навалился на спинку и нос задрал.

— Ой, Васька, да как ты смог? — удивлялась тётка Степанида. — Вылитый Егор! Как живой сидит. И чёлочка, и нос, и губы — всё тютельница в тютельница! Прямо патрет, на стенку надо повесить...

Но самому Егору «патрет» почему-то не понравился.

К вечеру Вася выходит из дому на улицу. Домишко их стоит на высоком берегу реки, и как раз неподалёку от дома, в переулке, мальчишки и девчонки катаются на лыжах — с горы летят прямо на лёд, на реку.

У Васи лыж нет. В прошлую зиму, в марте, ушёл он на своих лыжах в Гоньбу, к дяде Ефиму, и, пока гостил там, снег весь дочиста растаял. Обратный привёз его дядя Ефим на лошади. А лыжи остались. «Всё равно, — говорил дядя Ефим, — нынче на них уже не кататься, оставь, я ремни новые приделаю». Оставил Вася, а теперь жалеет, каждую субботу собирается в Гоньбу, да никак не соберётся. И вот терпенью настал конец, лопнуло.

В субботу Вася вернулся из школы, сел обедать, хлебает и говорит:

- Завтра к дяде Ефиму пойду за лыжами.
- Куда тебя понесёт? – отвечает баба Луша. – Такая даль, а морозы стоят.
- Что я – маленький? Воскресенье же! Обыденкой слетаю!
- Привезёт он их сам, твои лыжи.
- Жди, когда привезёт. Зима пройдёт.
- В таких валенках далеко не ускачешь! Тонкие, как листочки. Вот подошьём, тогда и отправляйся.
- Дядя Ефим и подошьёт! – вдруг приходит в голову Васе. – Он быстренько!
- Да и пальтишко у тебя насквозь продувает. Чего это мать смотрит?
- Всё равно пойду!
- О господи, и как жить с вами только, с такими неслухами? – возмущается баба Луша.

В воскресенье Вася встал пораньше, с утра пошёл в баню и постарался быстрее вернуться оттуда. Он подсушил у вьюшки¹ шарф, шапку, рукавицы, отыскал в посудном шкафу свой большой складной нож, подарок дяди Ефима, оделся и вышел во двор.

...Спускаясь вниз, к реке, он ещё колебался, но как только оказался на льду, решил твёрдо: «Пойду».

Снег ослеплял, похрустывал под ногами, как вилок капусты в ладонях, только ещё сильнее. Идти по такому снегу было одно удовольствие. Он упрямо, норовисто шагал по реке.

– Васька! – вдруг послышалось сзади, с горы. На горе стоял Егор в своей лёгонькой кепочке, в начищенных

¹ Вьюшка – печная заслонка, отделяющая топку от дымовой трубы.

и собранных гармошкой сапогах. Брюки с напуском на голенища. Рот расплылся, сверкнул на солнце зуб, сделанный из медного кольца.

— Ты куда?

— К дяде Ефиму.

— Подожди меня! — Егор скрылся и через десяток минут вернулся в шапке, валенках, рукавицах, да ещё и на лыжах, наверно, взял у Петьки, соседа.

Вася не любит Егора, хотя они и двоюродные братья и живут вместе. Однако отпраиваться одному в дальнюю дорогу как-то скучновато и даже боязно, поэтому обрадовался попутчику.

Егор старше Васи года на три, школу давно бросил, а работать не хочет. Только устроится, глядишь — выперли или сам ушёл, и опять на базаре да на вокзале околачивается, с какими-то типами якшается, домой к себе их водит. И все такие же, как сам, — с чёлочками до бровей, в сапогах гармошкой, заносчивые, задиристые...

В доме из-за Егора пыль до потолка. Вася не прислушивается к этой ругани (тем более, что дядя Софрон дверь в комнату прикрывает), но догадывается, что не за хорошие дела честят Егора.

Недавно Вася с Егором оказались в кухне вдвоём. Егор сказал таинственно:

— Вась, ты можешь быть другом?

— Не знаю, — дёрнул плечами Вася, предчувствуя недоброе.

— Трус ты, я гляжу!

Вася промолчал.

— А язык-то хоть можешь держать за зубами? — не отставал Егор.

— Почем я знаю, — сказал Вася и, преодолевая робость, поднял на Егора открытые голубые глаза.

Егор сообщил, что в подполье он обнаружил ведро с медными и серебряными деньгами, видимо, бабушкин клад, и если бы это ведро «приласкать», то всё появилось бы у них, как в сказке, — конфеты, пряники, калёные орехи... И накупил бы он, Егор, для Васи разных красок и цветных карандашей, и альбом из белейшей толстой бумаги... И коньки-дутьши купил бы. Васе надо сделать один пустяк: когда бабушки не будет дома, залезть в подполье, вытащить ведро и зарыть на дворе в снег. Всё остальное Егор берёт на себя. Вася молчал.

— Что? Поджилки затряслись?

— Не хочу, — прошептал Вася.

— Подлиза! — бросил Егор самое обидное для Васи слово и вышел, со злостью хлопнув дверью.

Дней через пять Васина мать случайно наткнулась в огороде на ведро с деньгами, занесла его. Баба Луша всплеснула руками:

— Егоркиных рук дело, больше ничьих!

Вечером Егору опять была проборка, а утром он со злобой шепнул Васе около умывальника:

— погоди, я тебе устрою!

— Да я ничего не говорил.

— Врёшь!

— Нужно-то мне!

Почувствовав, что Вася не в ладах с Егором, мать как-то спросила:

— Вась, что это Егор на тебя дуется?

— Думает, что я его выдал, про ведро рассказал.

— А разве ты знал?

— Да, — краснея, ответил Вася.

2

Глядя, как Егор спускается на лыжах с горы, Вася испытывает двойное чувство: маленькой радости и смутного беспокойства. Кто знает, что у Егора на уме... Ещё побьёт дорогой. Вася решает держаться настороже и в случае чего не поддаваться. Впрочем, он тут же упрекнул себя: «И чего испугался? Ведь он мне не чужой».

— Я на заимку к тёте Мавре, — сказал Егор. — Хочу на зайцев поохотиться. А ты зачем к дяде Ефиму?

— За лыжами.

— Почти всю дорогу вместе. Ну, двинули!

Егор сильно оттолкнулся палками и покатился. Вася зашагал следом.

Они пересекли Обь и пошли дорогой вдоль берега. Река ещё не совсем застыла, кое-где темнели закраины¹, полыньи, и в них плескалась необычная, казавшаяся чёрной вода. Даже не притрагиваясь к ней, Вася чувствовал, как она обжигает холодна.

Город уже далеко. Над снежными полями маячат одни лишь прокопчённые трубы. Дорога снова свернула на реку.

Егор на лыжах часто вырывается вперёд и всё подгоняет Васю: «Ну чего ты плетёшься? Не отставай».

У Васи взмокли спина, волосы — из-под шапки по лбу и по шее текут едучие ручейки. Он уже не раз снимал

¹ Закраина — скопление талой воды между берегом и краем льда на реке.

шапку, вытирал лицо и шею, но охладиться как следует не мог.

На реке, точно на сквозняке, быстро остыл. Ветерок был ножевой, острый, насквозь прошивал старое, покрытое байкой пальтишко. Вася озяб и прибавил шагу.

Егор ушёл далеко. Опять дорога с реки выскочила на луга, и братан уже с того берега махал рукой. Вася ещё сильнее заработал ногами.

Дорога вдруг уткнулась в наледь, чуть подёрнутую мелкоребристой коркой. Вася подался правее, надеясь обогнуть наледь, прошёл шагов сто, но конца наледи не видно. Вернулся, глянул влево: и тут вода разлилась широко, край её не угадывался. Егор что-то кричал. Сердился. Да и как не сердиться: идти до Гоньбы ещё немало. Вася побежал рядом с дорогой прямо по наледи. «Пробегу так быстро, что и валенки не успеет вода подмочить». Но при беге валенки глубоко входили в наледь.

— С тобой до ночи протащишься, — сказал Егор, когда Вася выбрался к нему на крутобережье. Лыжи Егор снял (они обледенели) и держал в руках.

— Нож взял? — спросил он.

— Взял, — ответил Вася и несмело потянулся рукой к карману.

Этот нож был подарок дяди Ефима. В рукоятке его врезаны с одной стороны — звезда, с другой — клинок, сделанные из жёлтой медной пластинки. Васю привлекали эти блестящие украшения. Рассматривая их, он тотчас вспомнил, что с ножом этим дядя Ефим, лихой кавалерист, давным-давно, когда Вася ещё не родился, воевал против басмачей где-то в песках, в пустыне... От такого

знаменитого ножа никто бы не отказался. Егор когда-то сильно приставал к Васе — отдай да отдай нож, предлагал в обмен десять стаканов кедровых орехов, в другой раз — ремень офицерский, у которого пряжка со звездой... Вася устоял.

Теперь он неохотно отстёгивал нож от цепочки. Егор начал соскабливать, оббивать лёд с лыж. Вася следил за рукой, за ножом, и когда Егор, кончив работу сложил нож и спокойно опустил в свой карман, Вася не выдержал:

— Ты что, обманывать? Давай нож!

— Отдам, не бойся, не позарюсь. Пусть пока у меня побудет, может, по Инюшке пойдём — ещё в наледь угодим. Ты как маленький...

«Ладно, бери, дома всё равно отдашь, никуда не денешься», — решает Вася и больше не заикается о ноже.

Они идут ненакатанной и переметённой дорогой — по свежему снегу только один санный след. У Васи ноги мокрые, валенки скользят. И он нет-нет да и оглянется назад, словно вернуться хочет. Город теперь весь виден, но он окутан морозным туманом, дымами и кажется каким-то чужим и далёким. Нет, возвращаться нельзя: до Гоньбы ближе, чем до города.

Вася уже устал. Ни кусты, ни заснеженные луга его не интересуют. Он забыл даже о том, как перед походом мечтал увидеть в пути мышкующую лису. Ветерок, который он впервые почувствовал на реке, начинает разграваться. Метёт позёмка, и дорога становится уброднее. И вот уже всё небо закрылось серой мутью. Ветер усилился, хлопьями полетел снег. Дорога потерялась...

Шли без дороги час или два — Вася уже не ощущал времени. Егор двигался впереди, и Вася видел его как сквозь туман.

— Мы не заблудились? — спросил он, когда Егор, остановившись, дождался его.

— Вроде нет. Нам бы на Инюшку выйти.

— У меня валенки как кости — ногу стёр.

— Раскис ты, Васька. Что с тобой делать? Отдохнём.

Но сколько ни отдыхай, идти надо. Пока ещё светло, надо хотя бы на Инюшку выйти, а там по льду можно добраться до самой заимки, не заблудишься.

Вася с трудом передвигал ноги. При каждом шаге боль пронизывала стёртую пятку. Ему всё чаще хотелось присесть, но Егор не давал, словно на невидимой цепочке тянул за собой.

Вдруг Вася услышал позади себя какое-то лёгкое дыхание, оглянулся: за ним бежала чёрная лохматая собачонка. Остановился — собака отпрыгнула назад. Посвистел ей — она не подошла. Ну и пусть.

Ветер стихал, снегопад кончился, но даже это Васю не радовало: он был безразличен и к собаке, и к Егору, и всё вокруг — снег, кусты, белоголовые стога — казалось ему каким-то неуклюжим, навязчивым.

Вася сел в снег и тотчас уснул. Разбудили его слова Егора:

— Простынешь на снегу!

— Не могу идти, Егор.

— Становись на мои лыжи, я тебя потяну.

Преодолевая боль в ногах и во всём теле, Вася поднялся, надел лыжи и взялся за верёвочку, протянутую Егором.

— Поехали! — весело крикнул Егор.

Егор тянул неровно, рывками, Васе трудно было устоять на ногах. Он то сгибался, то распрямлялся, то падал вниз лицом.

— Сделаем по-другому, — сказал Егор. — Садись на лыжи!

Егор привязал верёвку к лыжным креплениям. Но ослабевший, размякший Вася не мог удержаться на лыжах и в сидячем положении, соскальзывал в снег.

— Вот что, друг сердечный, таракан запечный, — сказал Егор. — Свернём к стогу. Отдохнёшь, а вечером я за тобой приду. Теперь уж заимка близко.

Вася согласился. Только бы не идти, потому что тело какое-то совсем пустое, точно из него всю кровь выкачали.

Слежавшееся сено не поддавалось, хоть зубами рви. Первые клочки они вынули из стога с огромным усилием, ломая ногти... Запахло цветами, разнотравьем, но и от этого чудесного запаха у Васи ничто не шевельнулось в душе, не возникло никаких воспоминаний о лете.

Наконец удалось вырыть небольшое углубление. Вася залез в него и сразу провалился в сон, как в пропасть.

Заложив нору сеном, Егор встал на лыжи и круто взял направо от стога. За первыми же ракетами он наткнулся на дорогу, а через минуту был на льду Инюшки, притрушенном снежком. От радости он даже запел: «Ах, зачем злой, коварный ты, север, молодые ты губишь лета...»

Но заимка была не близко — Егор пришёл туда только в потёмках. «Надо сказать о Ваське», — беспокоило думал он, растянувшись прямо на полу, где тепло от камелька пригревало спину.

Тётка Мавра только-только управилась со скотом и теперь готовила ужин — картошка «в мундирах» побулькивала в чугушке на плите. Колька и Сенька, её сыновья, а Егоровы двоюродные братья, недавно ушли в Гоньбу, в кино, а сторож дед Афоня со своим дробовиком (на который и рассчитывал Егор) успел уйти на пост, в крохотную избушку, приткнувшуюся к скотному двору.

Егору хотелось есть, у него сосало под ложечкой и подвело живот, но глаза сами собой слипались, и как он ни боролся со сном, затих прямо на полу. Тётка разбросила тулуп, уложила на него гостя, подсунула ему под голову подушку и накрыла одеялишком.

Не шелохнувшись, проспал он до рассвета, а утром, лишь успел открыть глаза, вспомнил: «Васька». Он вскочил. Все хозяева были на дворе, только на топчане у двери лежал дед Афоня, вернувшийся со своего поста.

— Я тебе дробы принёс, дедушка, — сказал Егор. — Ты дай мне ружьё поохотиться? Как в тот раз? А?

— А чего ж, бери. Только зарядов у меня кот наплакал.

— Да я тебе дробы накатаю на двадцать зарядов. И пороху принесу, мне кореш обещает.

— Бери, бери, не жалко. Но патронов всего три штуки. А зайчишки есть, бегают, всю Инюшку исследили. Возьмёшь с собой мою Бертю, она вытопчет зайчишку, подымет, шустрая сучонка. Да в старый сад загляни, знаешь, за Горелым Пнём?

— Знаю.

Наскоро проглотив несколько картофелин и опростав банку молока, Егор с ружьём за спиной двинулся на

лыжах по Инюшке в сторону города. Надо как можно скорее отыскать Васькин стог...

Найти его удалось не сразу, Егор попетлял по лугам. Солнце стояло уже высоко, когда он подошёл к знакомому стогу. У лаза разбросано сено, снег весь истоптан человеком и собакой. Берта нюхала следы, подпрыгивала перед норой, повизгивала.

«Ушёл, — подумал Егор. — Значит, всё в порядке».

Вдоволь наохотившись, Егор поздним вечером вернулся в город, домой. За спиной у него болтался заяц. Положив трофей в сених, он зашёл в кухню, разделся. Тётя Дуся спала на своей кровати.

Егор пошарил в шкафу, пожевал хлеба и, не обнаружив на печи Васьки, полез туда: сильно намёрзся за день, хотелось погреться.

Евдокия Ивановна спросила с постели:

— Ты, что ли, Вась?

— Нет, это я, — ответил Егор.

— А где Васька?

— Он разве не пришёл?

— Нет.

— Ну, значит, там.

— Где это — «там»?

— Где, где! У дяди Ефима, где же больше!

— Это точно, Егор?

— Ну, а как же? Конечно!

— Ты видел его у Ефима?

— Что вы прицепились, тётя Дуся! «Видел», «видел»...

Что мне на него глядеть, артист он какой, что ли? Я пошёл на заимку к тёте Мавре, а он — к дяде Ефиму, в Гоньбу.

– Почему же он не вернулся? Школу пропустил.

– Ну чего вы, тётя Дуся? Я откуда знаю? Может, и заболел. Может, лыжи не готовы. Может, дядя Ефим не отпустил в такой мороз.

– Ты не врешь, Егорка?

– Чего вы, тётя Дуся, на меня бочку катите?

Однако мать почувствовала что-то неладное. Егор говорит вроде бы виновато, неуверенно.

– Да не беспокойтесь, тётя Дуся, он придёт.

– Вы вместе отправились?

– Ну.

– И всю дорогу вместе?

– Ну.

– Он пошёл в Гоньбу, а ты на заимку?

– Конечно.

– Но почему он не вернулся сегодня? Школу пропустил.

– Вы, тётя Дуся, затеяли одно и то же. Висело мочало – начинай сначала. Спите! Я сказал – вернётся.

Но Егор и сам уже затревожился. Действительно, почему Васьки нет? Заморыш чёртов, ещё где-нибудь оконеченеет. Сказать, что он оставил Ваську в стогу и больше не видел, Егор побоялся: ругать будут, скажут, бросил мальчишку. А как его не оставишь, если он ни идти, ни даже ехать на лыжах не мог? Но разве им докажешь? Разинут свои говорилки, не переслушаешь. Отец махаться начнёт... В общем, тёплая воспитательная беседа... А кому это нужно? Всё равно Васька завтра придёт, куда он денется...

С этими мыслями Егор заснул.

Евдокия Ивановна всю ночь промаялась без сна. Едва только пропел петух, она вскочила, оделась и вышла из дому.

Морозом обожгло лицо, колени.

Дорогой думала о Васе. Худенький он, слабенький. Вроде и кормить она старается его чем получше, а всё же бледненький, жилочки синие на висках видны. Да и чем кормить-то? Война хоть и кончилась, а живём по тем же карточкам. Когда уж всё это установится? Скорей бы.

Зачитывается ещё сын. Уткнётся в книгу и может полдня или целый день просидеть пень пнём, даже есть не спросит. Гонишь, гонишь его на улицу, а он как глухой. Щёлкнешь по макушке, ответит: «Сейчас, главу кончу».

Зато весёлый парнишка. Приходит из школы, садится за стол:

— Мам, я вдребезги есть хочу.

А после еды:

— Ну вот, вдребезги налопался.

Где он подхватил это словечко? Придумает же! Однажды она пригрозила ему:

— Васька, туши свет, а не то поколочу вдребезги! Расхохотался, ой как расхохотался!

— Мам, ты у меня юмористка.

За спиною в утреннем морозном тумане поднялось солнце — оно было чёткое, как будто вырезанное из оранжевой материи и наклеенное на серую. Ни одного лучика не отбрасывало от себя. Мороз лютел, снег под ногами повизгивал, хватал за колени и щёки.

В голове Евдокии Ивановны проносились картины одна безжалостнее другой: вот Егор топит Васю

в дымящей полынье, и тот, раскинув ручонки, плавает подо льдом. Ой, какая холодная вода! У матери дрожь по спине пробежала... А вот жестокий Егор убил Васю, бросил, засыпал снегом, а один валенок из-под снега торчит, а из валенка высовывается пальчик, совсем-совсем белый.

Она не хотела распалать воображение, успокаивала себя, но тревога не проходила...

До Гоньбы дошла быстро, часа за четыре. Не шла, а бежала. Не помнила, как открыла дверь родительского дома, где теперь жила семья Ефима.

— Васятка у вас?

Ефим, починявший перед окном валенок, встал с низенького стульчика, повернулся всем телом. Шило у него вдруг выпало из рук:

— Ты откуда взялась?

— Так не был он у вас? Васятка?

— Нет, не был, — бледнея, ответил Ефим. Евдокия Ивановна опустила на стоявшую у двери кровать и закрыла лицо обеими руками.

— Погубил он его! — сквозь слёзы закричала она.

— Постой, постой, Дуня, не плачь. — Ефим шагнул к ней. — Расскажи толком, что случилось? Да не паникуй. Чего разревелась раньше времени! Кто погубил?

— Егорка!

4

Ложе, вырытое Егором и Васей в стогу, оказалось мало для Васи. Вначале он, мгновенно заснувший, не почувствовал этого, но когда разоспался и вытянул ноги, они очутились на холоде, высунулись из стога. Застывшие,

твёрдые, как кости, валенки грели плохо, и ноги стали беспокоить Васю. Глубокий и сладостный сон постепенно перешёл в тревожный и мучительный.

И снится стало Васе что-то синее и чёрное. Его обступил тёмный загадочный лес с длиннорукими колючими деревьями, потом поглотила непролазная чаща... Медведь, встав на задние лапы, угрожающе идёт на него, по-собачьи визжит. Вася закричал, призывая на помощь Егора, но Егор запаздывал, и Вася побежал от зверя, всё время натываясь на иглы хвои, на сухие жёсткие ветки. Медведь обогнал его и снова пошёл навстречу, разинув яркую пламенную пасть...

Наступило минутное просветление. Он смутно начинал сознавать, что лежит в стогу и что около него крутится та самая чёрная собачонка, которая шла за ним, чувствовал запах её шерсти, слышал жалобное повизгивание; ему хотелось позвать её и пригреть, но встать он не мог, на ногах лежало что-то тяжёлое...

И снова привиделось: лежит в пахучей траве, а в лицо шумным потоком сыплются с неба звёзды. Точно иголки, они колют лицо. Вася смахивает их, поворачивается лицом к земле, а звездопад не прекращается. «А как же небо? — с ужасом думает он. — Неужели останется без звёзд? Чёрное будет, вечно чёрное».

Вася пытается вскочить на ноги — и окончательно просыпается.

Сквозь реденький клок сена, закрывавший вход в его пещеру, пробивается свет. Вася сел, раздвинул сено и выглянул из укрытия: на лугах утро, ослепительно сверкает снег. Вылез из стога, поёжился, поводит плечами, потёр

лицо: в щёку дует колючий ветерок. «Весь вечер и всю ночь проспал. Вот это даю!»

Ноги будто одеревенели, какими-то чужими стали. Отлежал, что ли? И пальцы не чувствуют ни валенка, ни друг друга. «Вдребезги окоченели. Надо обмотать их шарфом. Мамка за шарф не похвалит, но простит. Наверну шарф и двину». Негнушимися припухшими руками Вася стягивает с шеи шарф, чтобы разрезать его надвое и обмотать обе ноги. Но в кармане нет ножа — вчера Егор не вернул. Он с трудом разувает левую ногу, снимает с неё носок и, окутав шарфом от пальцев до колена, всовывает снова в валенок. Тесновато, жмёт, но что поделаешь? А на правую ногу надо надеть второй трикотажный носочек. Вот и хорошо. Теперь можно идти.

Опираясь руками о стог, попытался встать, но тут же упал. Ещё одна попытка — и снова неудачная...

Ах, да что же это такое?! Что же делать? Сидеть, что ли? Ему вспомнились рассказы, не раз слышанные от взрослых: только на ходу можно спастись от мороза, сидеть и лежать нельзя — уснёшь, замёрзнешь. Надо идти. Вот разве опять в стог забраться? Там тепло, это верно, но ведь с голоду пропадёшь: и так живот уж к хребту прирос и во рту всё высохло. В деревню надо, к дяде Ефиму.

Цепляясь за стог, Вася поднимается на ноги. Стоять тяжело. Надо идти, разминаться. Шаг, второй, третий... Ноги не слушаются, он падает лицом в колючий холодный снег, долго лежит, ощущая горячее сухое першение в горле. Идти! Перед глазами мутно... Он становится на колени, упирается в снег руками, распрямляется, пошатывается.

Шаг, второй, третий, четвёртый... десятый. И снова валится пластом, не успев даже выкинуть руки вперёд, чтобы смягчить падение. Острые осколки снега, точно стеклянные, впиваются в лицо. Он долго лежит ничком, не пытаясь вытирать слёзы.

Мама, мама, где ты? «Идти!» — будто кто-то приказывает ему, и Вася опять поднимается.

Так шёл и падал, снова поднимался и шёл. Десять шагов — падение, ещё десять — снова лицом в снег. Всё мешалось перед глазами: стога в белых шапках, полоски тёмных, застывших от мороза кустов. И весь луг словно вымер: ни человеческого слова, ни стука, ни скрипа подводы. «Идти!» — стучало в голове, и он, стиснув зубы, одолевая сладкую власть покоя и неподвижности, опять вставал.

Но силы покидали его. Кое-как добрался он до одонка¹, зеленевшего неподалёку. Полежал на сене. Кажется, обморозил лицо... Начал тереть его снегом. Надо как-то укрыться от ветра... Он дотянулся до двух виц², воткнул комлями³ в снег неподалёку друг от друга, набросал на них сена и уселся под это укрытие, как под забор. Тишина. Не дует, не обжигает лицо. Он хорошенько уместился, вытянул ноги, закрыл глаза. «Вот лицо отойдёт — двинусь дальше».

Вдруг всё переменялось. Вася мгновенно очутился дома, в своей кухоньке. Он сидит за столом, мать раздевает его, гладит по волосам, проводит шершавой ладонью по лицу, плачет и смеётся сквозь слёзы:

¹ Одонок — круглая кладь сена.

² Вица — хворостинка, прут, длинная ветка.

³ Комель — нижний конец ветки.

— Жив! Слава богу! — говорит она. — Совсем ты застыл, сынок, ну куда это годно?

— Ничего, — отвечает он. — Мне тепло, верно, мама, очень тепло!

— Теперь спать, — говорит мама.

— Спать я хочу. Вдребезги хочу спать.

Почему-то рядышком со столом оказалась печка.

На её кирпичи даже не надо было подниматься — печка была очень низкая, ниже стола. Не успев удивиться такой перемене, Вася валится на тёплые кирпичи и уже сквозь сон слышит, как мать снимает с него валенки.

5

Объездной Тихон в это утро проснулся рано. Покрякивая от мороза, ещё затемно, при огнях, направился на колхозный двор. В хомутной он спросил, напоены ли лошади, и, получив от конюха утвердительный ответ, тотчас поймал в пригоне дрожащего, беловатого от куржака Рыжку, обмёл его пучком сена, подвёл к избушке, охомутал и запряг в скрипучие, нахолодавшие сани.

После завтрака он принялся латать свои мошнашки¹, так что, когда выехал из посёлка, солнце поднялось высоко, стало небольшим и побелело — на дворе чуточку ободняло², мороз хотя и обжигал щёки, но был терпим.

Не спеша объехав свой участок, Тихон сосчитал все стога, одонки и остожья³ и уже повернул коня в посёлок, когда заметил какой-то чёрный предмет, лежавший на

¹ Мошнашки — рукавицы.

² Ободняло — рассвело.

³ Остожье — место для стога сена, ограда вокруг стога.

одонке под санным затишьем. Он направил коня к этому одонку. «Кажется, человек. В такой мороз».

— Эй, чего разлётся? Разжарило?! Вставай!

Но человек не ответил. У Тихона тревожно ёкнуло в груди: «Диво-то какое...» Боясь напугать Рыжка, остановил его подальше от одонка, сошёл с саней и направился к человеку. «Вот диво-то: парнишка! Откуда взялся?» Он осторожно потрогал спящего черенком бича¹, громко спросил:

— Жив, что ли?

Парнишка молчал. Тихон пристально глянул в незнакомое лицо, и внутри у него будто что-то оборвалось: веки у парнишки были приоткрыты, и в узеньких щёлках виднелись безжизненные, остановившиеся, глаза. «Ах, беда-то какая... Совсем окоченел парень!» Тихон сильнее, уже руками, затормошил мальчика, но тот не шевельнул ни рукой, ни ногой, ни бровью. Старик перекрестился, осторожно поднял обмякшее тело и понёс к подводе.

Рыжко наострил уши, нетерпеливо затоптался на месте. «Стоять, служивый», — с тревогой приказал ему Тихон. Он сбросил с себя тулуп, расстелил по сему во всю ширину розвальней и уложил несчастного, закрыв его широкими полами и воротником.

Испуганный конь бежал быстро. «Может, ещё жив, — думал Тихон, опустив вожжи и мысленно одобряя коня, вдруг ставшего расторопным. И что за парнишка? У нас в посёлке такого нету, в Гоньбе тоже не видел. На городского смахивает, вон рукавички-то магазинные...»

На раскате дровни ударились о бровку дороги, подпрыгнули, и из-под тулупа донеслось что-то вроде

¹ Бич — длинный кнут или плеть.

стона. «Или поблазнило?» — подумал Тихон. Он прислушался — и снова уловил хриплый стон, но уже отчётливый, явственный. «Живой, живой малец! — обрадовался Тихон. — Повезу-ка его поскорее в сельсовет, разотрём... А оттуда в город, в больницу...»

Евдокия Ивановна, как только вернулась домой, сразу подступила к Егору:

— Врёшь ты все! Куда дел Васятку, говори! Всё равно дознаемся!

А сама — в слёзы.

Вся семья обрушилась на Егора, да он и сам почувствовал, что с Васькой что-то неладно, и уже не мог больше скрывать правду, рассказал всё как было.

— Собирайся в милицию! — приказала Евдокия Ивановна и повела его в ближайшее отделение.

А милиция в это время разыскивала родителей мальчика, ещё вчера доставленного в городскую больницу с лугов в беспмятном состоянии. Узнав горестную весть о сыне, мать поспешила к нему.

6

Очнулся Вася утром. Низко над ним стояло белое небо. Небо? Да это же обыкновенный потолок! Вася испугался: где он, что с ним?

— Выспался?

Вася повернул голову и увидел женщину в белом халате.

— Ма... — произнёс он.

— Нет, не мама. Мама в коридоре сидит и ждёт, когда ты откроешь глаза.

— А что со мной?

— Уснул крепко. Сейчас позову маму, подожди.

Едва женщина в белом халате вышла, Вася начал терять сознание. Он ещё успел открыть глаза и смутно угадать двух вошедших в палату женщин, одна из которых голосом мамы спросила: «Узнаёшь меня, сынок?», а ответить уже не мог — стало тяжело, словно на него навалилась гора. Две недели Вася метался между жизнью и смертью. Иногда ненадолго приходил в сознание, понимал, что находится в больнице.

Лечил Васю доктор Роман Сергеевич, человек молодой, с ёжиком седых усов над губами, с холодной мягкой рукой, которую часто клал на Васин лоб. Голос у доктора был басовитый, точно он говорил в пустую бочку. За доброту и чуткость больные любили старикана, называли за глаза Ромашей.

Ромаша справился с высокой Васиной температурой, с бредом и беспамятством. Вася лежал теперь почти в нормальном состоянии. Его глаза весь день были открыты — он думал, думал... Стопы и пальцы рук становились чёрными. Было над чем задуматься!

7

Мать бывала в больнице каждый день и всегда старалась увидеть Романа Сергеевича. Она заглядывала в глаза доктора, пытаясь что-то прочесть в них, но тот прятал глаза под седыми бровями или отводил в сторону. Бубнил он одно и то же:

— Будем надеяться на лучшее. В одном я уверен: больной спасён от летального исхода, это большая победа. Добавить ничего не могу, мамаша.

А ей хотелось услышать другое, что вот, мол, минет ещё немного дней — и Вася встанет на ноги, пойдёт, а потом плясать станет. Нет, о пляске Ромаша что-то совсем не заикался — и сердце матери поднывало, тревожилось.

В палате, кроме Васи Окунева, лежали ещё трое: один был совсем уже юноша, года на три-четыре старше Васи. Звали его Игорем. Он много спал, объясняя, что спится ему от уколов, вечерами не давал разговаривать, командовал прорезающимся баском: «А ну, малышня, баиньки! Больше — ни звука!» Сам засыпал быстро и во сне чмокал губами, будто сосал соску.

Рядом с Игоревой стояла койка Олежека, семилетнего мальчика. Тощенький, бледный, он часто жаловался на боли в животе и то и дело требовал грелку.

Зато третий, Тимка, у которого всё лицо заляпано конопушками, был весёлый и артельный¹, да и по возрасту подходил Васе, тоже в седьмом учился. Он всегда менял воду в общем палатном графине, уносил на кухню Васину посуду после еды, угощал всех грецкими орехами, которыми часто баловала его сестра, помогал кастелянше менять постельное белье... В больнице Тимка оказался после того, как по неосторожности опрокинул на себя кастрюлю с супом. Ожог сильно мучал его, но сидеть и лежать было не в характере Тимки — он то шастал по палате, то надолго исчезал, возвращаясь с кучей больничных новостей.

¹ Артельный — общительный.

Вася лежал в одной длинной белой рубашке, ему не разрешалось вставать. А мальчишке порою так хотелось пройтись по палате, посидеть у окна, выйти в коридор, чтобы глянуть на оживлённую городскую улицу — так хотелось, что хоть плачь!

Однажды он попросил нянечку:

— Тётя Валя, принесите мне штаны.

— Зачем?

— Хочу по палате пройти, а в рубашке стыдно.

— Что ты, что ты, Вася! Роман Сергеевич меня со свету сживёт за такие дела, знаешь, какой он у нас строгий?! Нельзя — значит, нельзя. Нет, нет, не могу — не проси!

Тогда Вася решил уговорить Тимку. Это было утром, после врачебного обхода. Тимка как-то сразу понял друга, согласился:

— Попробуй, может, зря лежишь, ходить пора, — мудро заметил он, протягивая Васе свои полосатые брюки на резинке и укладываясь под одеяло. — Помочь надеть?

— Сам справлюсь, — ответил Вася. Глаза у него повлажнели — от радости чуть не заплакал, лицо засветилось от предстоящего удовольствия.

Он натянул брючки, сел на койке... А встать на ноги не решался. Тимка следил за каждым движением друга, готовый в любой момент прийти на помощь.

К Васе подошёл Игорь:

— Держись крепче за меня.

Коснувшись обеими ногами пола и опираясь рукой о плечо Игоря, Вася быстро приподнялся и всю тяжесть тела перенёс на ноги.

– Ой!

Резкая боль ослепила, оглушила, он упал на койку, и если бы не руки Игоря, мог бы разбиться в кровь.

На крик в палату вбежал Ромаша, а вслед за ним – сестра со шприцем. Васю быстро привели в чувство. Мальчишки примолкли в ожидании грозы.

– Кто ему дал брюки? – строго спросил Ромаша.

– Я, – тихо ответил Тимка.

– Ах ты, добрая душа, Тимофей Иванович! Зачем же ты это сделал? Видишь, что получилось... Доктором пока тут служу я, а не ты.

– Простите, Роман Сергеевич, простите, – лепетал покрасневший Тимка. – Не подумал.

Об этом случае узнала и мать – нянечка рассказала. Она всплакнула, и захотелось ей хоть чем-то утешить сына, хоть что-то сделать, чтобы порадовать его. Но что она могла?

Она вспомнила о Ефимовом ножичке со звездой и саблей на рукоятке. Давно уже Егор просит отнести складешок Василию, говорит, что брал его, чтобы лёд с лыж отбить, а теперь надо вернуть...

Она как положила его в ящик, так и не трогала: «Зачем он ему, больному?» Теперь же подумала другое: «Вася любит Ефима, ножичек напомнит ему о дяде. Надо отнести, пусть порадуетя».

На следующий день, отправляясь в больницу, она взяла с собой Васино сокровище.

Сын обрадовался, когда подала ему ножичек.

– Спасибо, мам. Я его недавно во сне видел, в руках держал... Правда. Ну, как там Егор?

Мать молчала. Не хотелось огорчать сына своей открытой, необоримой враждебностью к Егору, к его семье, считающей Егора невиноватым. Но ведь она не могла и лгать сыну!

— Ты почему молчишь, мама? Я про Егора спрашиваю.

— А ну его! Не разговариваю я с ним.

— Всё на базар ходит?

— Совсем сбился с пути. Поступил на моторный завод — и опять ушёл: не по носу.

— Мам, не надо за меня ругать Егора.

— А что же, по головке его гладить? Бросил парнишку в стог — замерзай...

— Так я не мог уже идти! А он тянул меня на лыжах, сам весь замучился.

— Ладно, Вася, не будем об этом. Потом поговорим. Вот дядя Ефим обещает приехать, записку прислал.

И Евдокия Ивановна начала читать Васе Ефимово послание.

8

Когда Вася был маленьким и подолгу гостил в доме деда, в Гоньбе, он без памяти влюбился в дядю Ефима.

Бывало, вечером при свете трёхлинейной лампы дядя Ефим, починяя хомут, седёлку или шлею (он работал колхозным шорником¹), начнёт вспоминать свою военную жизнь, и Вася, сидя на печке, с раскрытым ртом слушает его рассказы о войне с басмачами.

¹ Шорник — специалист по изготовлению конской упряжи, в том числе шор — боковых наглазников, которые надеваются на лошадь для ограничения поля зрения.

«В Самаре, в кавалерийском полку, коней нам так выдавали: бегут они по плацу, а ты смотри во все глаза и примечай, — вспоминает Вася дядин рассказ. — Какой тебе понравится — на того и прыгай. Сумеешь уцепиться за гриву и вскочить на спину — твой будет. Я вот ухватился за рыжего дончака — на нём и воевал».

«А кто не сможет уцепиться, тот как?» — спрашивает Вася.

«Того посылают на переучку. Поешь, браток, ещё каши курсантаской и тогда выходи на плац. Вот как у вас в школе: не тянешь — оставайся на второй год».

«А где теперь твой дончак, дядя Ефим?» — допытывается Вася.

«Долго рассказывать, Василий, — дядя Ефим мусолит дратву¹ губами. — Повоевал мой дончак, погонялись мы с ним за бандой Ибрагим-бека. Несладко было в песках. Едешь, едешь — и глаза выпучишь: конца-краю нет пескам. Думаешь: неужели земля такая большая? А пески жаром пышут, как сковородка с углями, плюнешь — слюна шипит. Кто послабее, тот, смотришь, с коня — бряк! И — без памяти. Солнечный удар... Потом-то мы приспособились: под фуражки полотенца стали подкладывать. Не по форме, правда, на басмачей смахивали, зато голове легче...»

Проворно шьёт дядя Ефим, только шило в руке мелькает. Васе интересно смотреть на его работу, он любит помогать дяде сучить дратву, натирать её варом и мылить, любит сидеть на низеньком дядином стульчике, где вместо крышки перекрещенные ремешки...

¹ Дратва — толстая просмоленная нитка для шитья обуви и кожаных изделий.

Но больше всего Вася любит слушать дядины рассказы.

«У басмачей кони всегда свежие, им что, они их меняют в кишлаках, а наши, бедные, кости да кожа, шкилеты. От себя отрываем паёк и кормим их. Коня жалчей, чем самого себя, ведь он тварь бессловесная, хотя всё дочиста понимает».

Дядя Ефим умолкает, лицо становится задумчивым.

«А дончак мой сложил голову в песках», — говорит он о коне, как о человеке.

Вася боится расспрашивать о подробностях — зачем растравлять душу дяди Ефима? А тот уже о другом, об ишаках рассказывает:

«Потом мы переходы стали делать ночами, всё-таки не так жарко. А вместо лошадей в обоз для перевозки грузов стали брать ишаков. Но вот беда: как только двенадцать часов, ишаки начинают кричать, демаскировать нас... Что тут делать?»

Дядя Ефим весело откидывает волосы и смотрит на Васю смеющимися глазами.

«Они, ишаки-то, когда кричат, то хвосты вздирают. Так мы что придумали? К хвостам ихним стали камни привязывать. Смеху у нас было с этими хвостами, а ишаки всё-таки не стали кричать».

Когда-то Вася мечтал стать таким же лихим кавалеристом, каким был дядя Ефим. Позднее, во время войны с немцами, он «изменил» кавалерии в пользу танковых войск как наиболее современных и очень грозных. Но теперь, наверно, и танкиста из него не получится...

Вася перенёс несколько операций: ему отрезали обе ноги выше приколотов и пальцы рук.

Доктор Ромаша теперь заставлял своего больного в подавленном состоянии. Парнишка лежал лицом к стене и сутками молчал. Ромаша брал его за подбородок, искал глаза, смотрел в них: «Будь мужчиной, Василий!» Вася натянуто улыбался: «Да я ничего».

Евдокия Ивановна тоже жила молчаливой и замкнутой жизнью. Она безмолвно стояла у станка на своей фабрике, в одиночестве сидела вечерами на кухне и тихо ложилась спать... Раненое материнское сердце ожесточилось. В несчастье был виноват Егор и только он.

«Уходить надо, — часто думала она. — Не могу видеть Егора и всю их семью. Вот и свои они, а опротивели... Но куда уходить-то? На частную квартиру? Кому я нужна буду с сыном инвалидом? Ох, горюшко ты моё... Трудно будет с ним... А ведь не только растить надо — в люди его надо вывести. Тяжело одной-то... Может, всё-таки решиться выйти за Илью Никитича? По годам подходит. И, кажется, любит... Выпивает... Да кто нынче трезвенник? Зато надёжный, не летает от одной жены к другой...»

Но своё счастье она не мыслила без счастья сына. Знала, что сын будет против замужества. Так дорога и чиста у мальчика память о родном отце! А возраст у него сейчас ломкий, тревожный к таким делам, даже сказать — бешеный. Ничего-то он не смыслит ещё в жизни! Вспомнилось: купил как-то Вася книгу. Она бы не против, но денег в доме совсем не было. «Большой, а ума нет», — сказала она тогда ему. «Ум у меня есть, мам, но я его

тщательно скрываю», — замыл Вася свою оплошность. Оба смеялись тогда этой шутке.

Сын теперь подросток, многое передумал в больнице... Пусть бы понял, что не для себя, а больше для него мать это делает...

От частого посещения больницы одежда Евдокии Ивановны стала относить лекарствами. На фабрике говорили: «От тебя, Дуся, больницей пахнет».

Сегодня она опять идёт к Васе. Надо намекнуть сыну о своих намерениях. Но как это сделать?

Нет, и на этот раз мать ни слова не сказала об Илье Никитиче. Да и мог ли повернуться язык на такое при виде исстрадавшегося сына? Она любовно глядела в его испитое лицо, словно стараясь поглубже проникнуть в душу и внушить, что живёт только для него.

Все в больнице знали о Васе Окунева. К нему приходили из других палат, подсаживались, говорили с ним, приносили книжки, гостинцы. Навестила Васю учительница Маргарита Григорьевна, одноклассники, баба Луша, Егор, тётка Степанида.

Второй раз приехал дядя Ефим. Прежде чем войти в палату, он долго сидел у Ромаши. Появился в дверях какой-то важный, светлый, строговатый. На нём были синие с малиновым кантом галифе, старая военная гимнастёрка с приколотой к груди красной шёлковой розеткой, на которой посверкивал орден. Правое плечо у дяди Ефима опущено — след басмаческого сабельного удара, а правая ладонь высохла и похожа на дощечку. Узелок с гостинцами он держал в левой руке.

Дядя Ефим улыбнулся и, садясь на стул около Васи, задал свой неизменный вопрос:

— Ну, как ты тут, не тухнешь?

— Ах, дядя Ефим, ну скажи что-нибудь другое! Сговорились вы все, что ли, учить меня терпению? Маргарита Григорьевна даже книжку принесла — о Павке Корчагине. Я же читал её! И давно знаю, что нюни распускать нехорошо. Терпеливый я!

Но вот дядя Ефим и вправду сказал что-то новое:

— Скоро будешь учиться ходить, доктор говорит — сделают тебе протезы и костыли. Ходить-то ходить, а не забывай и про другое: надо ещё жить учиться, Василий. Понимаешь, учиться жить!

— Так я живу, дядя Ефим.

— Жить можно по-всякому. Надо так жить, чтобы не быть в тягость другим людям. Чтобы они не охали, когда на тебя смотрят.

— Как же не быть в тягость, если я... вот какой? — он кивнул на свои руки и ноги.

— А ты не думай о своих руках и ногах. Считай, что ты такой же, как все, одинаковый со всеми. Будешь думать о себе, и только о себе, да ещё жалеть себя — жизнь станет несносной. И не жалуйся. Не высказывай своих переживаний. Зубами скрипи, но про себя, чтоб только ты сам слышал.

— Понимаю, дядя Ефим. Только не знаю, смогу ли я без жалоб. И чтоб другим не в тягость.

— Это трудно! — почти шёпотом, с придыханием, словно сообщая важный секрет, заговорил дядя Ефим. — Это очень трудно! Не сразу это получится. Человеку всегда

хочется, чтобы его жалели, гладили по головке, слезу над ним пускали. Я сам когда-то всё это пережил... Люди так говорят: гнева не пугайся, а на лесть и на жалость не кидайся. Да, я сам пережил. Тоже хотелось, чтоб меня жалели, ведь я — калека. Но я переломил себя. Всякая жалость мне теперь противна. А сможешь ли ты?

— Не знаю, дядя Ефим. Мне часто хочется, чтобы меня жалели.

— Ломать надо себя, Василий, другого духу набираться. Помни мои слова!

И заговорил о том, что в наше время главное — не ноги, а голова, что у него есть где-то приятель, который лишился ног на войне, а теперь ворочает большими делами, что скоро сделают для таких инвалидов удобную машину...

Прощаясь, дядя Ефим не забыл сказать своё любимое словечко «не тухни», задержался в дверях, обернулся, помахал рукой.

Вася сказал неправду, будто ему часто хочется, чтобы его жалели. Не жалости ему хотелось, а ласки, особенно ласки отцовской, скупой, грубоватой — и оттого сильнее трогающей. Сколько уже лет он лишён этой ласки!

И в третий свой приезд дядя Ефим старался внушить Васе, чтобы он не очень-то падох был на людскую жалость. Многие любят жалеть. Разворошат тебе душу, разбередят больное, а сами — в сторону. Жалость — та же милостыня, только словесная. Надо устойчивым быть против этих говорунов. Да и самому себя меньше жалеть.

Ему сшили ватные наколенники, и он стал ползать по палате, по коридору.

С пола, снизу, все вещи кажутся высокими. И люди тоже какие-то необычные: ноги у них большие, как столбы, туловище и голова маленькие, лица всего не видно — подбородок да кончик носа.

Сначала Вася очень опасался чужих ног — вдруг они наступят и оттопчут его руку или ногу. Поэтому он держался около стенки. Потом осмелел, ползал везде. Впрочем, в коридоре появлялся редко, только по крайней необходимости: ему стыдно было показываться на людях. Больно сжималось всё внутри, когда вдруг ловил на себе чей-то жалостливый, опечаленный взгляд.

Когда руки ещё болели, его с ложки кормила нянечка. Теперь Вася ест самостоятельно. Ложку или вилку зажимает между ладонями, ещё обмотанными марлей, и орудует не хуже любого рукастого. Он привык к этому и начал даже подшучивать над собой:

— Жадные всегда берут ложку двумя руками.

Шутка нравилась нянечке, приносившей обед, и мальчишкам, что лежали в палате (Тимка и Игорь выписались, вместо них поселились два малыша).

Нянечка тоже была не из унылых. Ставя тарелку с едой, обычно говорила:

— Вася, сегодня чистая вкуснятина, ешь, пока не глупеешь!

Малышня ушла на обед. Вася лежал на койке, не хотелось открывать глаза. Он думал, что теперь уже скоро выйдет из больницы. Как хотелось увидеть город, деревья, реку, небо, облака! Да, начнётся новая жизнь. Какой она для него будет?

Тихо стукнула дверь — и сразу же запахло борщом. К его кровати прошаркали шлёпанцы. Кто-то поставил на тумбочку борщ и второе. Звякнула о тарелку ложка, Вася открыл глаза. И увидел... нет, не няню, обычно носившую ему еду, а девочку, незнакомую девочку, по возрасту, пожалуй, свою сверстницу.

Она смотрела на него вопросительно и чуть насмешливо. «Что же ты не встаёшь? — будто говорили её глаза. — Я же обед тебе принесла. Ну, подымайся!»

«Ага, новенькая», — подумал он, увидя на ней не белый халат медика, а обыкновенную полосатую пижаму и широковатые брючки — одежду больных.

Лицо у девочки было смуглое, серые глаза — большие, открытые, нос — прямой, рот чуть великоватый... Ничем особенным, ярким и запоминающимся не блистало это лицо, но оно притягивало, Вася не мог оторвать от него глаз.

— Вот лежебока, — девочка засмеялась.

И Вася увидел, что у неё полон рот зубов, и все они один к одному, ровные, белые и сверкающие, как блёсны, на которые он осенью, бывало, вытягивал окуней. Раньше он что-то не замечал у девочек зубов, ни у одной не видел, словно все они были беззубые.

— Ты больная или тут работаешь? — насмешливо спросил он, чуть порозовев лицом.

— Больная. Позавчера положили. Ну, что ты, Вася, не встаёшь? Всё остынет, придётся холодное есть.

— А я... что-то есть не хочу. Аппетит пропал.

— Не выдумывай!

— Откуда ты знаешь, что я Вася?

— Мне на кухне сказали. Неси, говорят, обед в пятую палату Васе Окуневу. Да не разлей. Я и понесла.

— Спасибо.

— А меня зовут Клёной.

— Какое имя... чудное. Как же в журнале в школьном его пишут?

— Клеопатра.

— Вот чудно! — засмеялся он и вдруг совсем смутился, покраснел. — Никогда не слышал.

— Это папа мне его выкопал. Он у нас с причудами. Говорит, царица такая была в Египте, Клеопатра, голос имела нежный, сладкий, всех привораживала им. — И Клёна засмеялась, засверкала своими бесчисленными зубами-блёснами.

— Спасибо, Клёна, за обед, — не зная, как продолжать разговор, робко вымолвил Вася.

— А здесь, в больнице, мне вчера ещё одно имя дали, — снова заговорила Клёна. — Я помогала нянечке разносить обеды — и один дядька окликнул меня сзади: «Петя!» Он думал, что я мальчишка: ведь на мне брюки. Ну, и прилипло: все меня «Петя» да «Петя», а один дядька ещё интереснее: «Петя-Петушок». А верно, что я на мальчишку смахиваю? — Она потряхнула головой. — Ну как, похожа на Петю-Петушка?

– Немножко, – ответил Вася.

Он со страхом подумал о своих забинтованных кулышках, которые держал всё время под одеялом. «Что делать? Что делать?»

– Вот и узнали друг друга, – сказала Клёна. – Почему ты не встаёшь? Стесняешься?

Он не ответил.

– Ладно, я уйду, а ты начинай обедать. Потом вернись за посудой. – И она быстро вышла из палаты.

Вася ел торопливо, с опаской поглядывая на дверь. Но Клёна пришла как раз вовремя, когда он уже кончил есть и спрятал себя под одеяло. Она произнесла каких-то два-три слова и ни на минуту не задержалась. «Узнала всё обо мне и не хочет дружить», – решил Вася.

В больнице Клёну сразу полюбили. Окружённые угрюмыми постными лицами, ушедшие в скорбные и нудные разговоры о своих и чужих недугах, больные увидели в девочке пришлицу из другого мира – мира здоровья, безоблачности, красоты, и обрадовались возможности прикоснуться к этому миру. Каждый хотел поговорить с ней, потрогать за растрёпанные волосёнки, погладить по узенькому плечу. В столовой, где Клёна помогала нянечке разносить блюда, – только с ней или о ней разговор. «Мне, Петрушка, добавки, в аппетит пошло». «Петушок, а нам бы горчицы» (хотя горчица стояла неподалёку). «Петенька, это не ты ли борщ варила? Очень вкусный!»

Все соревновались в том, как лучше пошутить с девочкой, вызвать её щедрую улыбку, доставить ей радость. А когда Клёна вплела в волосы красную ленточку, кто-то сказал: «О, у Петушка гребешок появился!»

Вася проснулся, с наслаждением потянулся и почувствовал себя здоровым, сильным, всемогущим...

Придёт ли сегодня Клёна? Это было первое, о чём он подумал. Потом вспомнил о чистом альбоме и коробке карандашей, принесённых матерью и уже несколько дней лежащих в тумбочке без движения, захотелось рисовать.

После завтрака, в ожидании врача, все мальчишки улеглись. Вася достал бумагу, карандаши и задумался. Что же он будет рисовать?

В Васиных рисунках всё двигалось. И получалось это как-то само собой. Если он рисовал, коня, то обязательно бегущего, если всадника на нём, то со вздутой на спине рубахой. Пароходы у «художника Окунева» непременно дымили, дым уходил назад и обрывался за рамкой рисунка. А какой бурун струился за кормой! Сразу можно увидеть, что пароход не тащится как-нибудь, а мчится под парами. Автомашины бежали, конечно же, по грязной дороге, из-под колёс веерообразно летели брызги, и на радиаторе плескался алый флажок. А как же иначе покажешь, что машина не стоит на месте? Даже у деревьев ветки от сильного ветра вытягивались в одну сторону, а с ними и листочки.

Сейчас Вася задумал нарисовать своё любимое: скачущего коня.

Трудно удержать карандаш между двумя ладонями, водить им неловко, он не слушается, прыгают линии вкривь и вкось. И бумага ползёт под рукой, смещается... Но Вася испорченный лист откладывал и брался за другой, за третий...

И вот, наконец, появилась на листе напряжённая голова коня с раздутыми ноздрями, вытянутая шея с космами гривы, и начала вырисовываться выброшенная вперёд нога. Ногу эту он особенно любил рисовать, тщательно выводил крупное копыто, бабку, тонкую голень, мощное колено.

Прошли напряжённые минуты — и из небытия возник серый, с синеватым оттенком конь, весь в тёмных мелких яблоках. Оставалось там, за конём, провести линию горизонта и на ней одним тоном нарисовать загадочные и неподвижные кусты, чтобы ещё сильнее выразить весёлый бег коня...

Рисуя, Вася почему-то думал о Клёне. Казалось, что она стоит за его спиной и глядит на каждую линию, на каждый штрих.

После врачебного обхода Клёна появилась у них в палате.

— Здравствуйте, мальчики! — приветствовала она всю палату. — Вам не скучно без меня?

Все отвечали, что скучно, что она редко ходит к ним.

Клёна обошла все койки, с каждым парнишкой перебросилась словами и подошла к Васе. Он успел уже закрыть альбом. Руки с тумбочки убрал.

— Ты, кажется, рисовал, Вася?

И сама открыла альбом, взгляделась в коня.

— Ой, это ты нарисовал?

— Ну, что тут такого, — ответил он, стараясь поглубже упрятать авторское тщеславие и в то же время доказать, что такой рисунок для него не больно великое достижение.

Клёна показала рисунок всей палате.

— Да ты, Вася, художник! Вот не знала.

— От слова «худо».

— Не скажи! Давай ещё рисовать? Я тебе карандаши буду застрагивать.

— А что рисовать-то? Тут нечего. — Ему не хотелось показывать ей, что карандаш он держит двумя руками.

— Придумаем! — уверенно сказала она. И сразу же выпалила: — Будем рисовать кошек, собак, волков, медведей... козочек...

Такая программа Васю не очень устраивала.

— Свиной, — пошутил он.

Она засмеялась. И смех её был, как звон серебряного колокольчика — такой весёлый и желанный.

— Завтра, — совсем засмутился он и убрал альбом в тумбочку.

После многих пасмурных дней, когда всё вокруг заполнено серой мглой, не имеющей ни начала ни конца, когда на земле неуютно и каплет с голых веток, и в комнате весь день стоит полумрак, — после таких муторных дней вдруг где-то на горизонте очистится краешек неба и заголубеет, точно лепесток анютиных глазок, — ах, как он изменит настроение, этот цветной лоскуток! Человек заглядится на него, как на какое-то чудо, которое он видит впервые, и в скучающей по солнцу душе его родится что-то светлое, праздничное...

Именно на такого человека походил сейчас Василий Окунев.

Впрочем, он не был всегда таким — легко переходил из одного состояния в другое...

Без Клёны почти всё время думал о ней, намеревался сказать ей много интересного и важного, но лишь только она оказывалась рядом, впадал в оцепенение, которое сам же после определял как «дурацкое», — и как ни старалась Клёна разговорить его, он не мог выдавить из себя ни одного путного слова. Иногда, особенно после долгих раздумий о себе, в нём рождалась озлобленность, и он во всём не соглашался с девочкой, возражал, спорил, а то и язви.

Однажды сказал ей:

— Какой ты Петушок, ты Сорока: на каждый колышек садишься и стрекочешь.

— Какая есть, такая буду. Наплевать! — ответила она.

Ну, зачем он сказал ей такие слова! Правда, она, кажется, не обиделась, но самому ему эта дерзость стоила многих горьких минут.

Назавтра же они вместе рисовали картинку из книжки. Клёна очиняла карандаши, поддерживала бумагу, стирала резинкой то, что просил стереть художник. А потом учила его писать, водила его руки по бумаге, прижимала к тумбочке тетрадь.

— Ты забудь про вчерашнюю «сороку», — глухо промолвил он.

— А! Я давно забыла.

С помощью Клёны Вася научился неплохо писать. Он начал переписывать из книг стихи и даже прозу. Из детского журнала перенёс в свою тетрадь рекомендации, как построить самодельную шляпку.

Однажды, когда Вася рисовал, в палату вошла Клёна. Немного посидела с ним на койке и вдруг сказала:

– Меня выписывают.

Она произнесла это без особого ударения, как нечто обычное, незначительное.

– Выписывают? – Василий вспыхнул. – Почему?

– Как почему? Ясно же почему: я выздоровела.

Положив карандаш, он откинулся на подушку.

– Уф! Вдребезги устал!

– Я пришла попрощаться с вами, – сказала Клёна, обращаясь ко всем мальчишкам.

Она обошла их, каждому пожала руки. Последним был Вася.

– В городе ещё увидимся. Когда-нибудь я встречу картину художника Василия Окунева!

У дверей помахала рукой. Последнее, что врезалось Васе в память, был красный бант-«гребешок» на её голове.

При утреннем обходе доктор Ромаша сказал:

– Полковник из райсобеса о тебе очень заботится. Сказал, что скоро сделают протезы. Не будешь ползать, будешь ходить по-человечески. Уразумел?

– Ага, – кивнул Вася. – Хоть не совсем по-человечески...

– Ну-ну, чтобы от тебя такого больше не слышал!

– Да я ничего.

– Это твоё любимое словечко, Окунев: «ничего». Гляди веселее!

Илье Никитичу не очень-то хотелось тащиться в больницу только за тем, чтобы поближе сойтись с несчастным сыном своей будущей жены, да ведь как будешь противиться Дусе, коли она просит, надо угождать, а потом оно будет видно, толкач муку покажет¹.

Пошёл он не с пустыми руками — в карманах лежали кульки с конфетами, мармеладом и пряниками — выменял на мясо у базарных торговков. «Чем мальчишку к себе приманишь, как не этим?» Показал все покупки Дусе — вот, мол, смотри, я не какой-нибудь сухарь, я со всей душой к твоему сыну. И та одобрила его, не словами одобрила, а глазами, он это видел.

Вошёл в палату и ласково, как только мог, поздоровался. На тумбочку начал выкладывать свои драгоценности, чтобы сразу ошарашить мальчишку.

Но Вася не спешил угощаться сладостями. С недоверием, холодно и как-то опасливо смотрел на пришельца, на его широкие и густые, сросшиеся чёрные брови, на розовые тугие щёки, столь необычные в больничной палате.

— Ты, Василий, не очень тужи, — хриловатым баском заговорил Илья Никитич. — Вот сидят на базаре некоторые, войной искалеченные, — ну и что? Жить хотят пошире — вот и сидят. Посидел день, смотришь, картуз² меди и серебра домой несёт. Живут не хуже, чем здоровые. Дома собственные строят. Люди их жалеют, никто мимо не пройдёт, пятак, десятик, двадцатик кинет, а который и рублёвку и даже тройак, особенно спьяну. Иные

¹ Толкач муку покажет — пословица, по смыслу — «поживем — увидим».

² Картуз — мужской головной убор с козырьком.

инвалиды по вагонам ходят, по вокзалам, на гармони играют и поют — для них песни складывает один старик, я его знаю, Поэт называется, живёт где-то на Горе, по базару часто шатается.

От этой утешительной речи Вася не повеселел. Он сжался под одеялом и продолжал посвечивать глазами, как зверёк. Илья Никитич погладил его по закрытым ногам.

— Новые будут лучше старых, крепкие, неизносимые, — пошутил. — И болеть никогда не будут, нить от погоды. Мозолей сапогами тоже не натрёшь. Не тужи! Нынче доктора не то что руки-ноги, даже головы новые пришивают! — Он хохотнул. — Я сам-то тоже на базаре вкальваю. Рубщиком туш работаю. Топор у меня, как у палача, большущий. Видал когда-нибудь? Нет? Придёшь — посмотришь. Мясо у меня всегда есть, самый лучший кусочек — мой. Попробуй-ка не посули мне этот кусочек? Я осержусь и так тебе разделаю тушу, что ни один покупатель не возьмёт. Я Дусе говорю: выходи за меня, с Ильей не пропадёшь, у него завсегда на столе жарено-парено, ешь — не хочу! Да она что-то тянет, наверно боится, что сын будет против... А я ей говорю: сына я никогда не брошу! Я не какой-нибудь ветродуй, меня все знают, хоть кого спроси...

«Что-то очень уж разболтался мужик, — подумал Вася. — Расхвастался. От водки, что ли? Или вообще такой говорун?»

Прощаясь, Илья Никитич пообещал ещё раз прийти, но Вася неожиданно буркнул: «Не надо». Илья Никитич ушёл обиженный.

Через неделю принесли протезы и костыли. Ромаша сам надел ему эти блестящие, пахнущие лаком ноги из дерева и железа и произнёс:

— А ну, дитяtko, давай учиться шагать. Человек без движения не может. Ну-ну, смелее!

Вася опёрся о костыли, вынес правую ногу вперёд (деревяшка стукнула об пол), но лишь только перенёс тяжесть своего тела на эту ногу, громко вскрикнул от пронзительной боли, повалился на руки врача...

Упражнялся он ежедневно и притерпелся к болям. Впрочем, кажется, они поутихли.

— Готовься, Окунев, к выписке, — весело прогудел, однажды Ромаша. — Сообщи матери. Через день-два рас-прощаемся.

От этих слов Васю бросило в жар. Потом он раздумался и вспомнил деревню, дядю Ефима, рыбалку и купание на реке, походы в бор за грибами, сенокос... Утром пришла мать. Он тотчас передал ей слова доктора. Лицо её оживилось, повеселело, но вдруг как-то сразу сникло. Она опустила глаза и не в силах была их поднять...

— Ты не рада, мам?

— Что ты, сынок! Как ещё рада-то! Слава богу, кончились твои операции, перевязки, боли. Только вот что, сынок... — Она по-прежнему не смотрела на Васю. — Теперь уж зачем скрывать, надо говорить. Замуж ведь я вышла. Позавчера ещё переехала к Илье Никитичу.

Сказав самое трудное, она чуть осмелела, подняла на сына виноватые и просительные глаза, ожидая его приговора.

Вася сжался, захлопал большими глазами. У него то пылали, то бледнели щёки — стыдно было за мать.

— Так что же ты скажешь, сынок?

Василий, не глядя на мать, пожал плечами, ответил едва слышно:

— Что теперь говорить?

— Не по прихоти какой-то пошла, сынок, сам знаешь. Когда можно было жить, жила и не хотела никакого замужества. А теперь — сам знаешь... Думаю: для Васи хорошо сделаю — ведь у Ильи Никитича свой дом, в нём есть для тебя отдельная комната...

— Зачем она мне? — грубо бросил Вася.

Она уткнула лицо в платок и с минуту сидела без движения.

Вдруг почувствовала на плече его руку.

— Ладно, ладно, мам, не плачь, я здесь совсем псих стал, больше не будем говорить об этом, всё! — с дрожью в голосе раскаивался он.

Она вытерла глаза платком.

— Тут Илья Никитич шоколадку тебе прислал и сыру, на мясо выменял. Ешь, — она положила всё на тумбочку. — Тебе надо поправляться, вон как исхудал.

Его смятенное сердце сильно билось. То хотелось сбросить с тумбочки ненавистные отчимовы гостинцы и заявить матери, чтобы она больше не приходила к нему, что он уедет к дяде Ефиму, а она пусть живёт со своим Ильей Никитичем и про сына забудет, то вдруг набегала на сердце волна жалости — он готов был кинуться к матери, прижаться, гладить её волосы, в которых недавно заметил седые ниточки, просить прощения за горе, которое ей принёс...

— Что же ты опять закручинился, сынок?

Он всё-таки смог справиться с собой, загнать глубоко внутрь оскорблённое сыновнее чувство.

— Всё! Всё! Конеч! Не говори больше об этом!

— Ну, вот и хорошо. Так за тобой можно завтра приехать? Привозить одежду?

— Ладно, приезжай.

Подводу Евдокия Ивановна выпросила на фабрике — директор дал ей свою выездную лошадь. Раскрашенный ходочек — на резине, с плетёным коробком, с крепкими рессорами — не трясёт, лишь покачивает. Васе будет одно удовольствие.

...И вот, наконец, они с Васей едут из больницы в своё новое пристанище, в дом мужа и отчима.

У пристани долго и старательно гудит пароход.

— Мама, скажи дяде, пусть повернёт на набережную: хочу посмотреть, — шепчет Вася.

— Хорошо, сынок, сейчас.

Кучер завернул коня в переулок, резиновые колёса пролётки зашуршали по песку.

Вася глядел вперёд, туда, где открывалось необъятное заречье. Где-то там, в таинственной и загадочной дали, земля сливалась с небом, но чёткой границы между ними не обозначалось: на том месте полосой тянулась неясная синеватая дымка. Зато ближе к реке всё было ясным и резким: тёмные ленты кустарников по берегам протоков и озерушек, белёсые травы на лугах, пёстрое стадо коров.

Протоки, выходявшие из Оби, текли не прямо — они огибали рыжие холмы и гривы. Отсюда, сверху, с высокого левого берега, они казались огромными серебряными дугами, впаянными в луга.

Кое-где пастухи зажигали прошлогоднюю побелевшую траву — широкие палы наступали на неё невысоким огоньком без дыма, а после огня оставались огромные чёрные кулиги¹. Впрочем, огонь не везде был виден — кое-где он растворялся и прятался в солнечном свете.

А вот и река. Широкая, сильная, она несёт и лодки, и какие-то длинные плоты — по самому фарватеру. А вон, не так далеко, по той стороне реки, около бакена, идёт небольшой пароход, белый-белёхонький! Эта белизна всегда очаровывала Васю. Именно в ней и заключалась вся красота парохода, да, может быть, ещё в огромной трубе, чуть наклоненной к корме...

Васе вспомнилась Клёна, её светлая улыбка, красный бант на голове, похожий на гребешок. Где она теперь? Может, едет на этом пароходе? А что? Куда-нибудь в гости сплавала. У Васи разлилась в груди нежность.

— Что ты, сынок, задумался? — заметила мать. — Смотришь, какая у нас красота?

— Я ничего, — спохватился он. И, помолчав, вздохнул. — Теперь не поудишь.

— А что она, удочка? Детишкам да старикам забава, — утешала мать. — Пустая забава, зряшная. Ты уже не дитё, ты парень у меня.

— А всё равно охота поудить.

— Может, когда и сходим вместе, я тебе червяков буду насаживать. — И мать отвернула лицо в сторону, умолкла.

Между тем они свернули с набережной, поехали по переулку и вскоре остановились у крашенных тёсовых ворот.

¹ Кулига — лесная поляна, расчищенная для земледелия.

Мать поставила к воротам костыли, подала Васе руки:

— Здесь мы живём, сынок. Давай помогу сойти. Слава богу, доехали. Илья Никитич ещё на работе, к вечеру придёт. Ну, спасибо, Иван Иванович, хорошо доехали. А теперь, сынок, пойдём, будем устраиваться.

Вася, опираясь на костыли, шагнул к калитке.

12

На новую квартиру однажды пришла баба Луша, принесла сахару. Она спросила о матери и, кажется, осмелела и повеселела, узнав, что той нет дома. После бабушки пришли уличные товарищи. Но с ними Вася никак не мог разговориться — они молчали, словно пугаясь своего старого знакомого. Заглянула как-то и Маргарита Григорьевна, сидела больше часа. Пообещала Васе оказать помощь в устройстве в дом инвалидов.

Но мать резко возразила:

— И не думайте! Пока я жива, никуда он не пойдёт.

Приходили школьные друзья... А вот Егор не показывал глаз. Видимо, из-за гнева Евдокии Ивановны. И не было Клёны... Да помнит ли она его старый адрес? Наверно, мимо ушей пропустила, когда говорил, где живёт.

Вася коротал дни в четырёх стенах, пока что чувствовал себя в квартире постояльцем, чужим и бесправным. Правда, книжки, которые приносили друзья, помогали ему забыться.

— Почему мало ешь? — говорил отчим за столом. — Не в гостях, а дома находишься. В рот тебе никто не смотрит. Ешь, мы заработаем. Одного прокормим, хоть и трудно всё доставать.

После этих слов Васе хотелось встать из-за стола.

По воскресеньям мать и отчим никуда не уходили. Держались они рядышком, отчим заигрывал с матерью, грубовато подшучивал над ней. Ударяя ладошкой по спине, говорил:

— Ах, Дуся, какая ты у меня гладкая! И всегда будешь такой!

Вася не мог выносить этих шуток — он с утра покидал дом. На дворе было легче, покойнее. Здесь воздух, небо и солнце не принадлежали отчиму, Вася мог вдоволь наслаждаться ими.

Во дворике он тренировал свои ноги, одолевал боль при ходьбе. Часто выходил за калитку и подолгу смотрел на проходящих мимо людей, на деревья, выбросившие листья, на лужи, в которых купались воробьи, на стаи летающих голубей.

Однажды в воскресенье, когда он стоял у калитки, напротив их дома остановилась подвода. У Васи ёкнуло в груди: с тележки соскочил и, отряхивая с одежды соломинки, шёл к нему дядя Ефим. Он обнял племянника, похлопал по плечу:

— Ну вот, ну вот, — говорил он. — Совсем жених! И усишки пробиваются... (Вася покраснел). Мать с отцом дома?

Он раскрыл настежь ворота и завёл во дворик лошадь. Вася обрадованно ковылял вокруг дяди Ефима, скрипел протезами, рассматривал лошадь, телегу.

— Руки тебе привёз, — улыбнулся дядя Ефим, привязывая к телеге распряжённую лошадь. — Вот! — И он вынул из-под соломы свёрток.

Вася хохотнул. Какие такие руки? Вечно этот дядя Ефим шутки выкидывает. Ему лишь бы посмеяться.

— Пойдём примерять. Не знаю, пригодятся ли. Возьми костыли под мышку, а сам об меня обопрись, ну, пошагали!

На крыльцо вышли мать и отчим — встречать гостя.

В свёртке действительно оказались «руки» для Василия: блестящие чёрные хромовые перчатки, сшитые самим дядей Ефимом. Пальцы туго набиты ватой, а к большому и указательному правой перчатки пришиты медные пластинки, соединённые тугой пружиной подобно тому, как соединяются бельевые прищепки.

Перчатки крепко застегивались на руках выше запястья.

— Можешь держать вес килограмм до трёх, сильная прищепка, — говорил дядя Ефим.

Вася отвёл левой рукой большой палец правой, прищепка раскрылась, он захватил ею зеркало, стоявшее на столе, приподнял — зеркало не выпало. И он начал пробовать свою новую руку на всех вещах, что попадались на глаза.

— Вот, смотрите! — ликовал он, поднимая перчаткой то отчиму пепельницу, то материну туфлю.

Мать хлопотала у стола. Отчим суетился у шкафа. Довольный и весёлый, дядя Ефим не отставал от племянника:

— А ну, вот этот чайник понеси! Чайник с водой прищепка тоже удержала.

— Ведро! — кричал дядя Ефим.

И его Вася поднял, только воды в нём было не больше двух литров.

— Для такого гостя, Дуся, принеси-ка филея из погребца! Куда нам его, солить, что ли? У нас хватит...

Вася заметил, как мать поморщилась от хвастовства отчима, однако без слов отправилась в погреб за мясом высшего сорта. Обедали с водкой. За столом Вася опять испытывал перчатку. Ложку она держала так цепко, что та ни чуточку не качалась, щи не проливались.

Вася быстро наелся, вылез из-за стола, ушёл в свою комнату. А мужчины и мамка сидели за столом, пили, ели, разговаривали. Дядя Ефим пробовал заводить песню. Петь он любил вместе с сестрой и теперь приставал к ней — споем да споем, а она отнекивалась, дескать, какие песни — сердце на песни не поворачивается.

— И чего тебе нить? — вмешался Илья Никитич. — Нет у тебя никакой нужды! Полная хозяйка в доме! Ты с брата пример бери, никогда не унывает.

— Да, братец у меня, слава богу, весёлый.

— А чего с кислой рожей ходить?! — говорил дядя Ефим.

— Да ведь в жизни горя много, братец, оно к земле пригибает.

— Кто под смертью ходил, тому жизнь как подарок, — ответил дядя Ефим. — Тот живёт да радуется — на радоваться не может.

— Это точно! — подхватил отчим. Хотя он не воевал (их эшелон разбомбили на пути к фронту, его ранили, после госпиталя стал прихрамывать и вышел из армии «по чистой»), он любил в разговорах ввернуть словцо о себе самом как о тёртом фронтовом калаче. — Это точно! Мы, фронтовики, без вина пьяные! Мы так пляшем, что с толка штукатурка летит!

— Хватит тебе, Илья, — оборвала мать.

Захмелевший отчим притих.

— Они-то вернулись... — снова сказала мать и умолкла. Послышался её всхлип. Вася часто задышал, у него пересохло горло, и он сжал зубы, чтобы не разрыдаться.

— Ну, довольно, Дуся, довольно, — говорил отчим. — Не век же теперь убиваться.

Мать притихла, мужчины тоже молчали. Тишину нарушил дядя Ефим:

Зачем сидишь ты до полночи

У растворённого окна?

Кого ты ждёшь, о ком страдаешь?

Заветных песен не поёшь, —

затянул он. И мать припарилась к нему, повела высоким грудным голосом. И когда песня кончилась, она сказала:

— Напоёшься — и на душе вроде легче станет.

— А как же, а как же! — подхватил дядя Ефим. — Песня душу лечит. Мне почему-то вспомнился сейчас гармонист и песельник, в эскадроне нашем был. Пашка Заев. Попали мы раз как-то в окружение, зажали нас басмачи в ущелье, ну, думаем, всё, не вырваться. А Пашка похаживает да посвистывает, кустики и птичек рассматривает. Командир ему: «Ты что, Заев, рассвистелся? Весело?» — «А что? — отвечает Пашка. — Плакать? Останется жизни моей минута, а я всё равно буду весёлый в эту самую минуту, потому что жив и не знаю, последняя ли она». Вот мудрец был какой.

«А сам-то ты не такой ли? — думал в своей комнате Вася. — Может, никакой не Пашка, а ты ходил там и посвистывал, а теперь на Пашку сваливаешь, потому что хвастать не любишь...»

Провожали дядю Ефима с поцелуями. Когда подвода завернула за угол и скрылась, Вася вдруг вспомнил Клёну... Вот так всегда у него выходило: начнёт думать о дяде Ефиме – тут же впутается Клёна; вспомнит порой о Клёне – на память придёт дядя Ефим... Почему-то эти два человека, по внешности такие разные, рядышком поселились в его голове.

13

В больнице Вася вырос из старых одёжек, и надо было покупать всё новое. Мать кое-что приобрела на базаре: бельё, рубашки. За чёрным вельветом, который очень хорош на костюм, она стояла в очереди всю ночь, едва доплелась домой, изжужьканная, с жалобами на боли в боку. «Слава богу, оденем Василия, – говорила мужу. – Вот не знаю, кому отдать шить». – «Отнесёшь людям – материал ополовинят, – заметил Илья Никитич. – Не костюм получится, а «обдергайка»: шевельни рукой или ногой – лопнет по швам. Машина есть, зачем отдавать?»

Евдокия Ивановна не стала спорить. Ей самой не терпелось поскорее взяться за работу, хотя мастерица она была невеликая. Сшить костюм решила без единой пуговицы, на резинках.

Вася впервые в жизни получал такую нарядную, если не сказать роскошную, одёжку и потому ждал окончания работы, как праздника. Он любил всё красивое: мог радоваться блестящей ёлочной игрушке, переводной картинке, раскрашенному мячу... Да и надоели ему застиранные больничные халаты и чиненые-перечиненые одёжины военных лет.

В один из вечеров мать закончила работу, и Вася надел костюм. Ему нравился запах ненашеного материала, и он с восхищением поглаживал широкие брюки, куртку с накладными карманами...

— Завтра на базар бы сходил, Василий. Как раз воскресенье. Пойдём? — Спросил отчим.

— Можно, — ответил Вася.

— Проветришься, а то совсем засиделся.

Даже на ночь Васе не хотелось расставаться с обновкой. Чтобы не измять костюм, повесил его на стул и, точно именинник, лёг в постель.

Они пришли на базар рановато — дворники ещё не успели увезти сор, набрасывали его лопатами на повозку. Базар пустовал, кое-где слонялись унылые мужчины с измятыми, отёчными лицами.

— Тут пока посиди, — сказал Илья Никитич, показывая на угол корпуса, где стоял старый покосившийся ящик. — Здесь почти весь день нету солнца, в тени будешь.

Вася сел, вытянув протезы с новыми ботинками.

— Я пойду в свой корпус, там меня теперь ждут. Если понадобится, придёшь. Закусить можешь в любом ларьке.

Рыночная площадь оживала.

Скоро Василию надоело сидеть, он встал и направился в гущу базара, в людскую сутолоку. ...Вот сидит на табуретке старая седая женщина, держит на коленях маленького красивого зверька с чёрной шерстью, которого называют морской свинкой. Шерсть у него лоснится, видно, он сыт и доволен. В длинном узком ящике, как в библиотечной картотеке, у женщины сложены бумажки — морская свинка своими крохотными зубками

вытягивает их для тех, кто гадает. Три весёлые подружки с любопытством смотрят на эту диковинку. Одна из девушек, кажется, погадала уже — комкает в руках бумажку.

— Теперь для меня пусть вытянет, — говорит другая, с рыжеватыми волосами и с обильными веснушками на лице. Она протягивает гадалке деньги. — Ой, боюсь, плохая записка в зубы ей попадёт! Зверёныш, миленький, вытащи хорошую!

— Какая судьба, — твёрдыми лиловыми губами, словно приговор, произносит женщина. — Какая судьба, такая и бумажка.

О судьбе поёт под гармошку и слепой мужчина, лицо которого всё в синих пороховых точках («Наверно, ему выжгло глаза зарядом?» — подумал Вася). Певца окружили женщины, слушают его со скорбными лицами, комкают платочки:

Судьба во всём большую роль играет,
И от неё далёко не уйдёшь,
Она тобой повсюду управляет,
Куда велит — покорно ты идёшь.

На гармошке стоит кружка в жестяном гнезде. И женщины, хлюпая носами и моргая мокрыми глазами, бросают в неё монеты...

Вася отправился дальше и оказался у толпы зевак, окруживших какой-то игровой столик. Он протолкнулся поближе. На столике начерчен круг, над которым вращается металлическая стрелка. Если она остановится против загаданного рисунка, человек выигрывает.

— Вот американское лото! — кричал хозяин игры. — Ставишь рубль — получаешь сто!

Голос показался Васе очень знакомым. Он ещё придвинулся к столику и увидел... Егора.

— А ну, подходи! Навались, у кого деньги завелись! Американское лото! Ставишь рубль — получаешь сто! Ставишь пятёрку — получаешь ничто! Ноль целых ноль десятых!

Вокруг похохатывали, улыбались. В игроках, видно, недостатка не было, стрела всё время вертелась, Егор засовывал в карманы очередную бумажку.

Вася выбрался из толпы, потихоньку двигался дальше. Встретаться с Егором ему не хотелось.

Деревянный тротуар, проложенный вдоль ларьков, оккупирован торговками. Сами они сидят на тротуаре, а товар свой разложили перед собой на земле, на расстеленных палатках. Чего тут только нет! Иголки, булавки, спицы вязальные, шипчики, ножницы... Банки-склянки, самовары, ленты... Даже коньки-дутьиши. Будь Вася здоровым, он, может быть, и поглядел бы на все эти нужные и ненужные мелочи, а кое-что и купил, например, блестящие коньки, никелированные шипчики, но сейчас он шёл мимо этой выставки равнодушно...

И вдруг на глаза попала удивительная штука: рядом с какими-то коробочками и порошками лежал толстый альбом в чёрном жестком матерчатом переплёте. «Для рисования» — сообщали золотые буквы на обложке. У Васи загорелись глаза, он нагнулся к торговке, пожилой мордастой женщине, попросил:

— Покажите, какая бумага в альбоме.

— Александринская, сынок, самая лучшая, — ответила торговка и открыла альбом.

— Александрийская, — поправил её Вася, не раз слышавший и мечтавший о такой бумаге. До войны в школе на ней, бывало, стенгазеты рисовали.

За альбом торговка заломила сотню рублей, а у Васи в кармане лежала всего лишь пятёрка, которую ему дала мать.

Он всё стоял и стоял возле торговки, словно ждал какого-то чуда. «Пойду к Егору», — вспомнил о братане, засовывающим в карманы даровые бумажки.

И чудо произошло.

— Ты чего здесь стоишь? — прогудел у Васиного уха бас. Около Васи стоял Илья Никитич в кожаном фартуке и белых окровавленных нарукавниках. — Купить чего хочешь?

Вася посмотрел на отчима с надеждой, но ничего не сказал.

— Альбом ему надо, да, видно, не по карману, — вмешалась торговка. — Сынок, что ли?

— Альбом? А ну, глянем! — Отчим взял в руки драгоценную вещь и начал грубо перебирать листы окровавленными пальцами, загибать на них углы...

— Бумага старинная, — похвалил он. — А сколько тут листов?

— Пятьдесят, — ответила хозяйка.

— Посчитаем, — и отчим, мусоля пальцы жирными губами, начал деловито рассматривать каждый лист. Васе хотелось выхватить альбом из его грязных рук.

— Так, правильно, пятьдесят, — сказал отчим, закончив казнь над альбомом. — Что ты за него хочешь? — обратился он к торговке.

– Кругленькую.

– А окончательно?

– И окончательно кругленькую.

– Не дури мне голову! – отчим почесал тугой синеватый подбородок. – Даю любую половину.

– Больно прыток! – дёрнула плечами торговка.

– Да что ты мне мозги крутишь! По целковому за лист – красная цена в базарный день! Да с кого ты дерёшь? Видишь, калека стоит?!

Вася покраснел. Ему уже не хотелось получить такой подарок из рук отчима... «Лучше бы к Егору пойти, – подумал он. – И пойду!»

Но отчим уже срядился с торговкой. Она уступила вещь за полсотни. Отчим сунул покупку Васе за пиджачок и весело сказал:

– От меня тебе на память. Как говорят: бери да помни. Ты обедал?

– Не успел ещё.

– Пойдём ко мне в корпус, у меня пирожки есть с ливером.

И Вася подумал: «Может, и верно – хороший мужик отчим...»

Солнце стояло уже высоко, оно было яркое и как будто смеющееся... Разноцветная гудящая масса народу, что толпилась на барахолке, тоже показалась весёлой, доброй и такой необходимой...

Накормив пасынка, Илья Никитич сказал:

– А теперь надо бы тебе немного подкалымить.

– Что? – не понял Вася.

– Сесть и фуражку перед собой положить. Небось люди сжалятся, подбросят, кто сколько может. Деньги –

они никогда не лишние. Вот пальто тебе надо заводить... Краски купить. Да мало ли чего.

Вася раскрыл рот, слушая отчима. Но удивление сменилось чувством унижения. Словно он попал в тиски, и они так крепко сжали его, что он не может ни пошевелиться, ни слова из себя выдавить. Совершенное онемение овладело им.

— Пойдём, — сказал отчим. — На своё место.

Он взял пасынка за руку выше локтя и повёл из корпуса, усадил на тот ящик, где Вася сидел с утра. Сняв с головы мальчишки фуражку, он положил её на землю подкладом вверх:

— Ну, давай, работай. Да не дуйся, бодрей держись. Будь, как твой дядя Ефим, всегда весёлый. Весёлых любят! Конечно, спервачка будет неловко, а потом привыкнешь... Ну, пока. Я пошёл.

Вася сидел согнувшись, опустив глаза в землю.

Вдруг в фуражку шлёпнулся медный пятак. Вася вздрогнул, поднял глаза: перед ним стояла старушка в старой плисовой жакетке.

— Ах, бедный малец, и не жил ещё, а кругом калекка, — жестоко заверещала она. Подошла молодая женщина и тоже бросила в фуражку монетку — та звякнула о пятак.

— Что же ты в инвалидный дом не идёшь, сынок? — скрежетала старушка. — Наверно, нет ни отца, ни матери?

— Не-е, — чуть слышно протянул Вася.

— Были бы родители, не послали бы руку протягивать, — сказала женщина.

— А кто их знает?! Может, и послали бы! — услышал Вася молодой голос над своей головой. — Это ты, Васятка?

Вася поднял голову и увидел улыбающегося Егора: жёлтый зуб его светился тускло, чёлочка наползала на глаза.

— А ну, вставай! — Егор прямо в пыль вытряхнул медайки, надел Васе фуражку и крикнул на подошедших женщин:

— Кыш отсюда, представление окончено!

Он осмотрел Васю с ног до головы и поник лицом.

— Братушка! Что с тобой судьба сделала! Тебе денег надо?

— Зачем? Ничего мне не надо.

— Да ты не ломайся. Возьми вот, — и он сунул Васе в накладной карман куртки горсть измятых бумажек, которые достал из-за борта своего щегольского шевиотового¹ пиджака.

— Не надо, — противился Вася.

Обеими своими перчатками он полез в карман, чтобы вытряхнуть всунутые туда Егором бумажки, но тот схватил его за руку:

— Бери, когда дают! Или не хочешь от меня брать, от гада такого?

Вася молчал.

— Я гад ползучий! Костыли об меня обломать мало! Сколько жить буду, не прошу себе этот сон на заимке, — он поморщился, словно от боли, помолчал. — А теперь скажи мне честно, зачем на толчок² пришёл? Да что это у тебя под пиджачком торчит?

¹ Шевиот — лёгкая шерстяная ткань с небольшим начёсом.

² Толчок — толкучий рынок — место, где торгуют подержанными вещами, старьём.

— Альбом. Для рисования. Отчим купил.

— А почему с картузом сидел?

— Да вот... Отчим посадил... подкалымить, — откровенно признался Вася.

— Отчим? Он с тебя шкуру хочет драть? А ты почему не огрызаешься? Ах, тебе стыдно чужой хлеб есть... За альбом хотел рассчитаться? Понимаю тебя, Васька. Но ты передай этому... Если он будет заставлять тебя на толчке фильки выпрашивать, я быстро шмон наведу. Я ему вывеску разукрашу... Не дам тебя в обиду, братишка, клянусь. Я про тебя часто думаю, Васька. Чистый ты у нас... Таким и оставайся. Ну, побегу к своему лоту. Видел? Мы втроём его содержим, купили у одного деляги. Дураки есть ещё на свете — облегчаем их гаманки¹. Ну, давай руку, если мной не брезгуешь...

Он исчез в толпе. Вася двинулся домой, проклиная отчима и свою минутную слабость. Нет, больше такого не случится!

14

— Что с тобой? — спросила мать, встретив в дверях хмурого и раздражённого Васю. — Почему так рано?

— Нишим меня хотел сделать...

— Кто?

— Илья Никитич.

И Вася всё рассказал — и про альбом, и про своё унижительное сидение, и про Егора.

— Не хочу такого альбома! — сказал он и швырнул отчимов подарок на стол. — Пусть забирает обратно!

¹ Гаманок — кошелёк.

«Вот оно, начинается, — с тревогой подумала мать. — Надо улаживать ссору, пока не разрослась...»

— Ох, сынок, всё я понимаю. Но ведь надо как-то жить с Ильей Никитичем. Лучше потом когда-нибудь отдашь ему деньги за альбом-то. А сейчас уж чего, рисуй. Хорошая вещь-то. Может, он подарил её без задней мысли? От подарка нехорошо отказываться, сильно ты его разобидишь. Давай, сынок, пока потерпим, не будем заводить скандала. Посмотрим... Может, оно и добром кончится. Не ходи больше на базар-то — вот и всё.

Вася поохладился, поуспокоился. Мать продолжала:

— Придёт — так не дуйся, сынок, будто между вами ничего и не было. Сдержись. А я уж выговорю ему всё сама. Ведь он же человек, поймёт.

— Ладно, мам, я буду молчать. Договорились!

Отчим пришёл навеселе. Он не заметил отчуждённости и замкнутости пасынка, лежавшего на кровати с книгой в руках.

— Ну, как, понравился тебе, Дуся, альбом? — весело спросил он. — Хоть и дорого, но, думаю, пересолю да выхлебаю! У нас денег хватит!

— Спасибо за подарок, — в замешательстве проговорила мать.

— Что я принёс! — возвестил отчим, вынув из кармана какую-то бумажку. — У одной бабки списал эти слова. А ну, читай, Василий! — и он протянул пасынку разглаженный листок. — Будешь эти слова говорить, когда сидишь на базаре. Тебе денег навалят! Сильно жалобные слова. Ну-ка, барабань вслух.

Скрепя сердце Вася начал читать.

– «Не хотел я просить чужую копейчку, но судьба заставила обратиться к вам и кланяться вам», – читал он.

Опять судьба! Везде о судьбе говорят! Неужели её нельзя ни обойти, ни объехать?

– Слушай-ка, Дуся, как здорово получается! «Обратиться к вам и кланяться вам...»

– Кланяться – это унижаться, – возразил Вася.

– Куда ж ты денешься, миленький? Да и нет ничего плохого в унижении. Не нами сказано: когда надо, будешь тише воды, ниже травы...

– А я вот не люблю унижаться, – не сдавался Вася. – Стыдно. И дядя Ефим говорил мне: считай, что ты со всеми одинаковый.

– Ну, ладно, ладно, читай дальше!

– «Не дай господь просить, дай господь подать копейчку», – прочитал Вася.

– Ох, это верно! Не дай господь, – сказала мать.

– «Не ради меня, а ради моей судьбы калецкой пусть будет милость ваша, родные мои...»

И снова судьба! Что это за слово такое зловещее?

Кто его придумал?

Вася положил листок.

– Всё, что ли? – спросил отчим.

– Всё.

– Вот это молитва! За душу хватает! – восхищался отчим.

– Давайте ужинать. Всё поспело, – позвала мать.

Илья Никитич, оказывается, принёс бутылочку – и теперь поставил её на стол. Приступая к еде, он налил себе стакан, а жене и пасынку – гранёные стограммовые рюмочки.

— А я думаю: что парню делать? Дома сидеть? Да ведь без дела-то тоска съест начисто, в петлю вгонит.

Он выразительно посмотрел на пасынка, но тот вроде бы и не слушал его — ни да ни нет.

— А там, на базаре-то, — люди, люди, гармошки, песни, вся житуха там! На людях-то не загорюешь, Василий! Подожди-ка, мы ещё раздуюм кадило. Ну-ка, тяпни! Да не отставляй, прими, она полезная для здоровья!

Илья Никитич пододвинул Васе жаровню с мясом:

— Ешь до отвала! — провозгласил он. — В жизни надо приспособиться — и тогда жирный кусочек у тебя всегда будет. Слушай меня, худу не научу. Ну-ка, давай прими стопарёк-то. У свиньи — и то один раз в году праздник бывает. Да не мотай ты головой, Дуся, знаю сам, что делаю, не маленький. Не запрещай! Пусть парень хоть немного забудется. Ну, давай-ка стукнемся, Василий.

— Не будет он пить, Илья Никитич, — сказала мать. — Этого ещё не хватало. Зачем неволить, когда парень не хочет? Зелен ещё!

— Выпьет, — не сдавался отчим. — Это целебное, не яд какой-нибудь, — он поднёс свой стакан к Васиной рюмке — рюмка глухо звякнула. — Ну, поднимай! Я пью.

— А когда это у свиньи праздник? — отодвигая рюмку, спросил Вася.

— Не знаю, — ответил отчим.

— Может, когда она в грязи валяется? Или когда её почешут и она ляжет? Вот у неё и воскресенье!

И Вася громко засмеялся.

Густые брови Ильи Никитича насунулись на переносье:

– Ну ты шибко-то не мудри, Василий. К тебе со всей душой, а ты... Мы ведь и по-другому можем.

Он одним глотком опорожнил стакан и угрожающе захрустел огурцом.

– Сколько тебя уговаривать?! Не хочешь старшего послушать, умнее всех хочешь быть. Гм, ещё и смеяться... Нечем гордиться-то пока. Разве что костылями... Но они у тебя не с фронта! От своевольтва!

– Я своевольный... Зато вы... вы... ловчила! Ловчила!

– Замолчь, не тебе судить! – крикнул Илья Никитич, побагровев. – Молоко не обсохло!

Матери показалось, что всё полетело и закружилось – дом, Илья Никитич, Вася и сама она... Внутри у неё всё затряслось, она заморгала глазами, как ослеплённая.

– И чего нам ссориться? – дрожащими губами сказала она. – Из ссоры, говорят, дома не построишь... Семьи, значит.

– Ничего, мамка, проживём. Я теперь ходячий. Ты только не плачь.

– Да и слёз-то нет, сынок.

– А ты мать сюда не впутывай, – холодно изрёк отчим.

Вася вылез из-за стола, положил перед отчимом альбом:

– Не надо мне вашего подарка!

Мир в семье был нарушен.

Вася искал работу, но найти что-либо подходящее для себя было трудно.

Отчаявшись, он пошёл в районный отдел социального обеспечения, который выплачивал ему небольшое пособие и ведал жизнеустройством инвалидов.

Отделом временно руководил инвалид войны, бывший полковник, не раз принимавший участие в Васиной судьбе. Это он, когда мальчишка ещё лежал в больнице, заказал ему протезы, следил, чтобы сделали их лёгкими, удобными, сам ездил в мастерскую.

И вот Василий сидит у него в кабинете, рассказывает о своём отчине, просит подыскать место.

— Ты удачливый человек, — выслушав его, говорит полковник. — Ты как раз вовремя явился, Василёк. В городе открываются курсы счетоводов.

Он внезапно умолк, поглядев на руки Василия и будто что-то вспоминая. Вася рассматривал седой хохолок полковника.

— Да, кстати, Василёк: ты писать-то можешь?

— Научился. Ещё в больнице.

— Отлично! Молодец! — обрадовался полковник. — Тогда всё! У тебя семь классов?

— Седьмой не закончил.

— Ничего, сойдёшь. С шестью возьмут: я позвоню директору курсов, чтобы приняли документы и зачислили тебя. Давай топай, греми на место дислокации. Это недалеко, Красноармейская, сто двадцать. Запомнил? — Полковник пожал Васину култышку. — Ну, сынок, удачи!

Через несколько минут Василий Окунев вылез на остановке, от которой сто двадцатый номер должен быть недалеко.

Протезы бухали по деревянному тротуару, но он не слышал этого стука, привык уже к нему, да и занят был раздумьем о своём положении, идущем, кажется, на поправку.

Вдруг поднял голову: впереди шли, разговаривая, три девочки, и голос одной из них заставил вздрогнуть и насторожиться...

Сердце у него упало. Он прислушался к разговору, но разобрать ни слова не мог. Машинально убыстрил шаги, не спуская глаз с тёмной головки, на которой колыхался бантик.

Девочки скрылись за поворотом, в переулке. Такое случается не впервые. Издали он неожиданно признаёт в какой-то девочке Клёну, весь встрепенётся, рванётся вперёд, но вдруг непобедимая робость словно схватит его сзади и остановит...

Дом номер сто двадцать оказался рядом. Получилось действительно всё отлично: у него без слов приняли написанные тут же заявление и другие бумаги.

— Квартира есть? — спросил директор.

— Пока есть, а дальше не знаю.

— С первого числа начинаем занятия. Считай, что ты принят, приходи.

Домой Вася решил двигаться пешком: надо тренировать ноги, говорил он сам себе. Но в глубине души робко брезжила надежда: если пойдёт пешком, может встретиться с Клёной.

И потом — надо в дороге как следует поразмыслить об этих курсах. Получилось с ними как-то внезапно, быстро и словно помимо его воли — он не успел даже подумать, посоветоваться с матерью. Беспокоят его эти курсы.

Он всегда боялся цифр, путался в них, по математике «ехал на тройках». Читать всякие рубли и копейки, наверное, скучно. И опасно. Он непременно будет ошибаться на целые сотни и тысячи, а ведь за это по головке не погладят. Облысевшие бухгалтеры в очках пугали его — что скажут, когда он всё перепутает?

Вася прошёл полквартиры — и внимание его привлекла длинная вывеска на низком деревянном доме с застеклённым фасадом. Дом стоял на противоположной стороне улицы. Василий перешёл дорогу и неторопливо прочитал всё, что было на вывеске, каждое слово. «Художественная мастерская» — было написано самыми крупными буквами. Пониже их: «Копии картин, портреты, плакаты, панно, лозунги. Оформление площадей, зданий, интерьеров». А ещё ниже сообщалось, в какой технике работают здесь художники: «Масло, темпера, гуашь, пастель, карандаш».

Вася прочитал вывеску несколько раз. Долго думал, что означают слова «интерьер», «темпера», «пастель» — они звучали красиво и загадочно.

Откуда взялась мастерская? Наверно, открыли недавно, пока он лежал в больнице. Обходя застеклённый фасад, он заглядывал внутрь помещения: там ходили и сидели люди, склонялись над своими работами, над большими свежими рамами, обтянутыми белым полотном, над листами фанеры...

На двери, ведущей в мастерскую, объявление: «Мастерская принимает учеников. Поступающим необходимо предъявить свои рисунки. Для принятых устанавливается испытательный срок».

Учеников? У Васи захватило дух. Ведь и он, Василий Окунев, может стать учеником?! А почему же не может? Разве вот только руки-ноги помешают? Посмотрят на них – откажут.

Он долго не мог успокоиться. А что, если взяться за ручку, открыть дверь и войти в этот светлый, таинственный, необыкновенный зал? Нет, только не сейчас. Надо, скорее идти обратно, к счетоводному директору, забрать свои документы, пока не поздно. Сейчас же идти! А вдруг здесь его не примут? А-а, будь что будет! Не примут сразу, он попросится вторично, в третий раз, в десятый... Пойдёт к полковнику, наконец.

16

Лето было на исходе. На лугах, точно древние окаменевшие богатыри, о которых она читала в сказке, загадочно молчали стога. Их было так много, что не окинешь глазом. Машины, кони, люди, ещё недавно хлопотавшие на этих гладких просторах, теперь двигались и шумели где-то в степи. Великое безмолвие лугов не нарушали, а будто усиливали посвисты малых пташек, далёкий окрик пастуха или гул самолёта...

К Ефиму Евдокия Ивановна пришла освежённая, повеселевшая. Сейчас она ясно понимала, что Вася-то молодец, он уже окреп, созрел и может правильно кое-что понимать... «Нет, не дам я Илье над ребёнком издеваться, лучше одна буду маяться, — подумала она. И эта мысль всё более укреплялась в ней. — А трудно будет — люди помогут, свет клином не сошёлся на Илье, добрые люди есть».

О семейной ссоре поведала она брату во время обеда. Ефим слушал, не перебивал, и только когда вылез из-за стола и закурил, веско сказал:

— Жмот твой Илья Никитич!

— Но ведь Васе на люди надо, чтобы всякие мысли в голову не лезли, — возразила мать доводами отчима.

— На люди — не обязательно на базар, Дуня!

— Так ведь калека, убогий, кусок хлеба добыть...

— Вот Егорка тоже говорит — «кусок хлеба добываю», да чёрт ему рад, такому куску. Егорка только о своём брюхе думает да ещё о глотке — залить её... Я гляжу, Ваську забрать от вас надо. Увезу, пока совсем не испортили парня. Вы из него второго калеку сделаете — себялюбца. О себе только и думать будет. Часто плачет?

— Ночами, бывает, слышу.

— Ну вот. — Ефим задымил, закашлялся. — Я не шучу: отдайте мне Василия!

— Что ты, Ефим! Один-то сын... Да ты не думай, что Илья Никитич враг ему, он тоже хочет ему добра, только не так, как мы, по-своему. Он ни за что не позволит отдать Василия, поверь... Про себя уж я не говорю.

— Тогда пусть ремеслу учится!

— Господи, да какой из него работник!

Она возражала больше для того, чтобы ещё раз услышать от брата убедительные слова в защиту Васи.

— Что ты, Дуня, как маленькая! — распалился брат. — Затмение на тебя нашло? Ну, подумай: какая жизнь у попрошайки? Только о себе и о себе. А человек не этим жив. Человеку веселей жить, когда он работает. Всякая работа — для людей, всякий труд — к людям уважение.

Возьми хоть меня: куда ни приду — все ко мне: Ефим Иваныч, Ефимушка... Зато и я для человека или для колхоза — расшибусь, но сделаю...

Возвратилась домой Евдокия Ивановна только к вечеру. Она привезла от брата деревенские гостинцы — кошёлку яиц, маслица, несколько головок чесноку... С Ильей Никитичем о Васе она больше не говорила.

А Вася рисовал и рисовал. Ему хотелось явиться в заветное здание во всеоружии. Он ходил на берег реки, рисовал всё, что казалось интересным: лодку на воде, маленького рыбака с удочкой, кота, запустившего в воду лапу; дома он сделал несколько карандашных натюрмортов, изобразив свой дворик, лужу на дороге, в которой отразился дом. Мать раза по три — по четыре в день убегала с фабрики, чтобы посмотреть на сына, оставшегося дома: не наделал бы чего с собой, всё может случиться с таким калекой при семейном раздоре... Она не хотела показываться сыну, осторожно подходила к дому, на цыпочках кралась к окну. Когда Василия в доме не обнаруживала, высматривала его на дворе сквозь щели ворот.

Приникнув однажды к воротам, мать была поражена необычной картиной: Вася шёл по усадьбе без костылей, широко расставив руки и пошатываясь.

— С ума сошёл! — выдохнула она и мигом вбежала во дворик. — Что ты делаешь? — Она подбежала к нему, схватила за руку. — Держись крепче за меня, на плечо опирайся!

Вася устало улыбнулся, вытер рукавом влажный лоб:

– Не надо, мама. Я тренируюсь. Видишь, как хорошо стою. Отпусти мою руку.

– Зачем это тебе? Разбиться хочешь?

– Опостытели палки, – он кивнул на костыли, стоявшие у крыльца.

– Так ведь больно ходить-то? Наверно, из ума вышибает?

– Привыкну.

– Люди вон без одной ноги – и то на костылях.

– А я не хочу.

– Вроде неладное ты затеял. Что, если ноги совсем откажут? С Романом Сергеевичем надо бы поговорить, с доктором.

– Я его видел в городе – он и посоветовал.

– Ну, если так... А я думала – сам.

Мать постояла ещё с минуту, посмотрела как сын, качаясь, зашагал к крыльцу.

– Пойду, сынок, на работе же. А ты поменьше тренируйся, успеешь ещё.

На крыльце Вася дал себе время отдышаться, охладиться – и снова встал...

Культи горели, как в огне. При каждом шаге боль прошивала кости и мышцы. Он кусал губы, стискивал худые, угловатые челюсти, смахивал пот, заливавший глаза. Вдруг потерял власть над собой и упал в изнеможении... У него покатались по щекам слёзы, но, отдышавшись, он снова поднялся и пошёл, качаясь, как одинокое гибкое деревце на ветру...

Сверкающий под солнцем остеклённый фасад длинного здания и красочная вывеска с загадочными словами так и стояли в глазах.

Наступил день, когда Вася понял: дальше мучить себя ожиданием не сможет, нет сил. Надо идти.

Утром он вышел на крыльцо, поднял костыль, размахнулся и забросил его в соседский садик. Костыль зашелестел по листьям и глухо стукнулся о дерево. Туда же полетел и второй.

Трамвай довез Василия Окунева до знакомой остановки. Вася тяжело застучал протезами по тротуару. Опирался он на маленькую палочку. Шёл — словно гвозди в плахи вбивал. И всё-таки широко расставлял ноги, вихлял, покачивался.

«Скажу: буду всё делать — клей разводите, краски готовить, кисти мыть, — только примите». За пазухой, свёрнутые в трубочку, шуршали листы. Когда рисовал, думал — хорошо. Теперь же стыдился своих рисунков. Как их показывать?

С трудом открыл тяжёлую дверь. В нос ударили запахи красок, клея, табака и сырых сосновых подрамников. К Васе подошёл молодой человек:

— Вы по какому делу?

— Мне бы... к главному вашему.

— Ах, к Мастеру!

Все работники звали своего заведующего Мастером, имея в виду не должность, а умение.

Васю провели в небольшую комнату, такую же светлую, как и зал. Спиною к двери сидел за мольбертом

седой человек в синей блузе. Блуза была широкая, просторная, вся измазанная красками. Ах, полжизни отдал бы, чтобы носить такую!

– Проходите, – сказал Мастер, орудуя кистью и не оборачиваясь. – Садитесь на стул. Я сейчас.

Вася осторожно, глухо затопал деревяшками. Мастер сразу обернулся, смерил его с ног до головы. Сбиваясь и путаясь, Вася всё объяснил, вынул рисунки. Мастер долго рассматривал их, потом ушёл куда-то с ними, и в эти мучительные минуты, тянувшиеся долго-долго, Вася чуть не сбежал из мастерской.

Наконец Мастер вернулся. Глаза его потеплели.

– Что ж попробуем поучиться, – сказал он. – Завтра же и приходи. Волынку тянуть не будем.

– А я смогу? – Вася показал свои руки, которые до сих пор старался прятать. Его всё ещё одолевали сомнения.

– Без пальцев? – грустно сказал Мастер. – Ну что ж. Попробуем. Тут, дружок, не одни только руки нужны.

– Глаза?

– Глаза – это бесспорно. Я о другом. Внутреннее зрение, что ли... Которое где-то там, за глазами, или, лучше сказать, во всём человеке разлито.

Он помолчал, улыбнулся. Вася подумал: весёлый человек Мастер, совсем не страшный!

– Непонятно? Как же тебе, дружок, объяснить попроще? Внутреннее зрение – это, наверное, талант.

Вася кивнул.

– Когда ты рисуешь или кистью пишешь, у тебя всё внутри должно в это время петь. Впрочем, так в любой работе: если внутри поёт, значит, ты любимое дело

делаешь. Если же спит всё внутри, нет волнения, нет песни — считай, не за своё дело взялся, оставь его поскорее.

— А что там внутри поёт? — осмелел Вася. — Петушок какой, что ли?

Ему хотелось, чтобы весёлый мастер оценил его юмор и улыбнулся, — и тот действительно одарил Васю улыбкой. Вася вспомнил о Клёне.

— Да, да, петушок! — обрадовался он удачному слову. — Это такой петушок... такой петушок... который... среди ночи нас может поднять с постели и погнать к своей работе. Правильный петушок!

Окунев вздохнул с облегчением:

— Спасибо, Мастер. Так я завтра приду?

Вася начал учиться делу нелёгкому и тонкому, где нужны большая увлечённость и особое чутьё. Работой он не тяготился, в мастерской ни на минуту не испытывал скуки.

Однажды вечером он шёл домой усталый и радостный. Вдруг подумалось о своих скрипящих тяжёлых ногах и кожаных руках... Он поймал себя на том, что подумал о них впервые за сегодняшний день.

Дома он сел у стола и громко возвестил:

— Ух, мам, есть хочу вдребезги!

Мать посмотрела на него долгим внимательным взглядом и захлопала веками.

— Ты что, мам?

— Ничего, сынок, — она смахнула слезинки со щёк.

Грунтуя белой клеевой краской фанеру, чтобы потом гуашью писать на ней плакат, Окунев услышал стук

в окно, повернул голову и увидел за стеклом на улице Клёну. Белый школьный фартучек, сумка в руках... На голове не «петушиный гребень», а белейший, точно облачко, бант.

– Вася! Вася! Я тебя узнала! – кричала Клёна.

Он бросил кисть и в два скрипучих шага оказался у окна, прилип к стеклу. Но вымолвить что-либо не мог.

– Ты в какой школе учишься? – наконец нашёл он подходящее начало разговора, хотя хорошо помнил номер её школы.

– В восьмой, – ответила она.

Он смотрел на неё во все глаза. Рядом стояла её подруга, но Окунев даже не глянул на неё.

– А ты что здесь делаешь? Работаешь? – спросила Клёна.

– Нет, пока что учусь. Как твоё здоровье? – опять некстати ляпнул Окунев.

– Спасибо, отличное! – засмеялась она. – Я гостила в деревне! Мы зайдём к тебе завтра? Можно?

– Пожалуйста, хоть когда!

– Придём обязательно! В это же время, ладно? Ну, до свидания! – она замахала рукой, удаляясь.

Окунев подвинулся в одну сторону широкого, чуть не во всю стену, окна, чтобы не упустить её из глаз. Но вот голова его уперлась в косяк – окно кончилось.

Клёна исчезла.





КАК МЫ ЗАХВАТИЛИ ПЛАЦДАРМ

Брату Александру

Я лежал рядом со Звонковым. С самых первых дней наступления, а дивизия начала его недавно, я как-то прилепился к младшему лейтенанту, всё время с ним да с ним — стал вроде бы его тенью.

Река текла неподалёку. Слышно было, как она шумела, как волны поплёскивали, шарились у берегов.

Звонкова позвали к комбату. Он вернулся и говорит:

— Батальону приказано форсировать Рабу с ходу и захватить на том берегу плацдарм. Никаких плавсредств нету. Строить их некогда. Будем нырять.

— А глубоко?

— Где как. Но ясно, что в местах, где брод, огонь будет сильнее. Знаешь, Андрей, позови-ка всех комсомольцев из второй и третьей рот. А сам я пойду за ребятами в первую.

Прямо в кустиках Звонков открыл комсомольское собрание. Он говорил о боевой задаче, поставленной перед батальоном. Комсомольцы должны первыми кинуться в реку, показать пример другим. А на том берегу

действовать дерзко и быстро, не дать противнику опомниться.

Не успели люди разойтись, как прибежал связной от комбата и передал приказание сниматься, идти вперёд.

Звонков, не мешкая, побежал к реке. Теперь уж не надо было маскироваться, наступление началось, и он кричал во всё горло: «За мной! За мной!» И мы бежали за ним и за командиром взвода.

Вот и река. Я увидел, как Звонков плюхнулся в неё с разбегу. Я кинулся за ним. Меня сразу обдало жгучим, как огонь, холодом. Шага три от берега я всё-таки сделал, потом оступись и по макушку оказался в воде. Я захлебнулся, вынырнул, кое-как отплевался, отфыркался и снова пошёл вниз, ко дну. Оно было не так уж и далеко, но вода опять накрыла меня с головой. Я успел сделать по дну шага два и начал отталкиваться руками, чтобы всплыть.

А немцы уже ударили по реке и по нашему берегу. Огонь, правда, не прицельный, потому что ночь. Я на секунду высовываю лицо, чтобы заглотнуть воздуха, и слышу, как с того берега нахлестывает пулемёт. А мины над водой так ухают, так булгачат воду, что, кажется, вся река должна сейчас закипеть.

Опускаться на дно не очень весело: не выдержишь, хлебнёшь водички и останешься там навсегда, и даже жестяной звёздочки над тобой не будет. Но и высываться из воды тоже не мёд.

Звонкова я давно потерял из виду. Жив ли? Может, утонул?

Скребусь. Стиснул рот, торчком иду на дно, делаю по грунту шаг, два, три, а когда чувствую, что вот-вот

разорвусь, начинаю отталкиваться ногами от дна, гоню руками воду под себя, чтобы скорее оказаться наверху. Хочется подышать подольше, набраться сил, но всё на мне такое свинцовое — сапоги, гимнастёрка и брюки, автомат, диски, гранаты, — что я сразу иду опять вниз...

Нам говорили, что ширина реки метров семьдесят. Мне показались они за семьсот.

Я обессилел. Голова уже не держится над водой, один нос высовываю, как утка.

А всё-таки пригодилась мне тренировка, которую получил в детстве и юности. Бывало, начнём купаться на нашей речке Журавлихе, я прямо с ветлы, что стоит над крутобережьем, бух в воду — и пошёл дном... Вынырну на другом берегу тихонечко, где-нибудь под кустом. Друзья тревожатся: «Где он? Не утонул ли?» А я высуну одно только лицо, дышу, ухмыляюсь: «Пусть поволнуются!» Долго быть под водой — это среди нас, пацанов, считалось особым шиком.

Произошло чудо: я добрался до берега и хлопнулся около него. Ноги мои ещё в реке, но всё остальное — на твёрдой земле. Я мог дышать сколько захочу. Оказывается, какое это удовольствие — дышать!

По реке продолжал поливать пулемёт, там и тут рвались мины. Я лежал под крутым берегом, на узкой, в три шага, песчаной полоске: пули меня не могли достать, но от осколков я и здесь не был застрахован.

Я оцупал себя: диски и гранаты целы.

Выплыл ли кто на этот берег? Я вскочил, размял плечи. Холодно, чёрт возьми, зубы надо сжимать, чтобы не выбивали чечётку. Всё тело у меня отерпло, и только в левой стороне груди я чувствовал что-то тёплое и живое.

Пошёл вниз по течению. Слышу шуршанье сапог впереди. Ага, кто-то всё-таки есть! Мы молча и осторожно сходимся.

– Ты, Крапивин? – тихо спрашивает человек, и я узнаю голос Звонкова.

– Живой, товарищ комсорг?!

– Как видишь.

Звонков по званию был младший лейтенант, по должности – комсорг батальона. Солдаты любили его. На кухне во время раздачи стоит и заглядывает в каждый черпачок – не жидок ли, не мала ли порция, в бане обязательно осмотрит бельё, которое старшина выдаёт, в самый ли раз оно солдату, и если мало или велико, заставит заменить... Когда мы вступали в бой, Звонков всё время торчал среди нас, солдат: подойдёт к каждому, поговорит, у пулёмётчиков сектор обстрела посмотрит...

Запомнился мне и случай во время учебных прыжков (нас готовили как десантников, а воевать вот пришлось обыкновенными пехотинцами).

Звонков, комсорг батальона, прыгал чуть ли не с каждым взводом, хотя мог бы этого не делать. Каждый раз в бригаде после прыжков заунывно рыдал оркестр, трещали жидкие салюты на воинском кладбище – хоронили одного или двух разбившихся солдат.

Кто никогда не прыгал, тот считает, что главное – первый прыжок, а уж потом, дескать, всё пойдёт как по маслу, страху никакого не будет. Если бы так! При каждом прыжке, первом или двадцатом, сам с собой воюешь, со своим страхом. Конечно, первый прыжок труднее. Я вот в первый раз так и не прыгнул: в самолёте вцепился

в поручни намертво и не мог оторвать рук. Командир взвода лейтенант Путинцев стоял у меня за плечами, страшно ругался, грозил всеми карами, пытался выкинуть из самолёта... Так со свёрнутым парашютом в самолёте я и вернулся на землю. Подходит ко мне Звонков, который уже успел прыгнуть с первым взводом.

— Ты что, Крапивин, заболел, что ли?

Я пожал плечами, похлопал глазами.

— Да вроде здоров.

— А если сейчас с тобой взлетим — прыгнешь?

Я замялся.

— Попробую, — сказал я.

— Ну а если точно?

— Прыгну, товарищ младший лейтенант!

Решительности моей хватило ненадолго. Как только «Дуглас» зашёл на прыжок и открылись дверки, у меня снова всё внутри закричало: «Не могу, не могу! Как полечу в эту пропасть? Пусть переводят в другую часть!»

Звонков сидел рядом и посмеивался. В эти минуты я ненавидел его. «Что человеку надо? Обязательно хочет меня утробить. И ещё улыбается».

— Я прыгну вслед за тобой, — говорит он. — Вдвоём лететь веселее. Ну садись, а потом оторвёшься.

Я сел и ноги свесил, но кинуться вниз не могу. Потом я всё-таки перекинул тело за борт. А руками держусь. Не могу разжать их, хоть убей. Звонков вроде нечаянно придавил сапогами мои руки, от страшной боли я заболтал ногами.

— Не дави, гад! — закричал я и с этими словами отвалился от самолёта...

У меня всё замерло в груди, отключилась голова, я оглох, но это было совсем недолго. Трос натянулся, выдернул чеку из кольца — и парашют раскрылся.



Я осмотрелся. Живой, чёрт возьми! Сработала система. И тут я почувствовал себя каким-то богатырём, сильным и смелым. Мне захотелось петь. Но песни почему-то я никакой не вспомнил и запел такое:

Сработала система.

Сра-бо-та-ла сист-е-е-ма!

Звонков никому не рассказал о том, как я в самолёте праздновал труса, это осталось нашей тайной, и я мысленно много раз говорил «спасибо» своему «небесному крёстному». Следующие прыжки я делал уже без понуканий, вместе со всеми.

...Звонков стоял передо мной, и с него, как и с меня, стекала вода.

— Что будем делать, Крапивин? — спросил он.

— Загорать, — ответил я повеселее. — Вдвоём что мы сделаем?

— Поищем других.

Мы пошли по берегу и вскоре наткнулись ещё на двух солдат — Попова и Гурзо. Пока говорили с ними, подошёл Курочкин, автоматчик из второй роты, очень низкий, прямо шарик какой-то. В роте его звали: «Тридцать килограмм с автоматом».

— Диск утопил, — пожаловался он. — Нахлебался, кое-как вылез.

— Нас пятеро, — сказал Звонков. — Будем занимать плацдарм, пока они не совсем опомнились. — И пошёл. Мы за ним.

Наступать впятером? Командир нашего взвода лейтенант Путинцев едва ли сунулся бы вперёд с таким составом. Он бы весь взвод собрал. А Звонков прёт

и с четырьмя солдатами. Получается, что нас вроде бы никто не заставляет наступать, мы сами до этого додумались. И это нам нравится, и хочется попробовать, как это у нас получится.

Звонков остановился напротив того места, откуда с высокого обрывистого берега раздавались пулемётные очереди.

– Приготовить гранаты, – шепчет он.

И сейчас же сам размахивается. Я услышал щелчок его гранаты, потом взрыв – там, наверху. На нас полетели комья земли. Пулемёт сразу умолк. Мы с Гурзо тоже кинули вверх по гранате.

После взрывов прислушиваемся: ни стоны, ни крика.
– Лезем! – сказал Звонков.

Мы хватаемся за землю, за корневища, за выступы и комья, карабкаемся на высокий берег. Наверху мы прилегли и дали по несколько очередей. До нас доносится топот, возня, какие-то команды и крики.

На небе чуть-чуть угадывается горизонт с высоткой посередине.

Мы поползли по сырой лощине. Пригибаем головы, потому что свистят и повизгивают пули. Трассирующие прочёркивают темноту в разных направлениях.

Ко мне «подкатывается» шарик – Курочкин: «Гурзо убило, не дышит!»

Я передаю его слова Звонкову. Комсорт молчит. Потом спохватывается: «Диски у него взяли?» – «Не знаю. Сейчас сам возьму».

Оказалось: один диск уже весь расстрелян. Держимся кучно, рядышком, боимся потерять друг друга.

За какие-то считанные минуты мы вроде бы породнились, срослись друг с другом, словно не четверо нас, а один человек с четырьмя сердцами, которые стучат удар в удар. А самая большая моя любовь — Звонков. Сердце готово разорваться от преданности ему!

Подползаем к линии окопов. «Гранатами — и „на ура“, — шепчет Звонков.

Взрывы поднимают грязь, воду, всё это летит на нас. Но очищаться нам некогда — мы соскакиваем, орём и врываемся в окопы.

Под ногами валяется убитый. Мы ходим по грузному трупу, бегаем вправо-влево, ограждаем себя огнём.

— А ну, давайте ещё вперёд! — говорит Звонков, и мы опять бежим, стреляем и влетаем в какую-то траншею. Воды в ней — по брючный ремень. Мы находим место посуше.

— Передохнуть надо, товарищ младший лейтенант! — просит Попов. Он тяжело, с хрипом дышит.

— Надо, — соглашается Звонков. — Давайте так: ты, Попов, справа, ты, Курочкин, слева, я наблюдаю за высотой, а Крапивин — за тылом. По местам!

Мы немного разбрелись или, как говорят военные, рассредоточились. Каждый всматривается и вслушивается в свою сторону. Стреляют отовсюду.

Мы расшевелили немцев, а теперь вся их оборона тут спутана...

Долго мы так стоим. Мёрзнем, колотит каждого, как в лихорадке. Вдруг я слышу: что-то шуршит впереди, какая-то тёмная масса движется к нам от реки. Я докладываю Звонкову.

Мы сбиваемся в кучку и, не дыша, смотрим в темноту. Когда группа подходит ближе, Звонков кричит:

– Стой, кто идет?

Молчат.

– Отвечайте, будем стрелять!

Ни звука.

– Последний раз спрашиваю!

Там зашептались, забормотали. Группа разбегается.

«Огонь!» – кричит Звонков, и мы стреляем.

– Расшерудили мы их, вот они и мечутся, – шепчет Звонков. – Как слепые котята.

Ждём рассвета, задубели. От реки, как что-то живое, ползёт к нам на холм апрельский туманец, оседает на глиняном валу.

Внизу снова показываются какие-то фигуры. Я кричу:

– Стой! Кто такие? Русские? Немцы?

– Свои! – отвечают из тумана. – Лейтенант Путинцев.

Мы вскакиваем им навстречу. Руки жмём, по плечам хлопаем. Лейтенант привёл с собой двадцать человек. Автоматы, пулемёт, два противотанковых ружья. Сила! От радости хоть пляши без гармошки.

Все разместились в нашей траншее, говорили громко, шумно, будто рядом и немцев не было. А всё же Звонков влево и вправо по траншее выслал посты – Курочкина и Попова. Надёжные ребята.

Разговариваем, курим. Оказывается, многие солдаты табачок держат в резиновых кисетах. Вдруг (на войне почти всё случается «вдруг») донёсся до нас долгий, бешеный, смертельный крик. У меня мороз пробежал по коже. Мы все кинулись по траншее на этот крик

и наткнулись на Курочкина. С окровавленной финкой он стоял над убитым немцем.

— Напугал меня, гад, — говорил он, и губы у него дрожали. — К нам шёл.

— А почему живым не взял? — строго спросил лейтенант Путинцев.

Курочкин виновато пожал округлыми плечами, согнулся и стал ещё ниже. Глаза у него расширены, как у сумасшедшего, и губы белые, и лицо — как простыня.

— Испугался, товарищ лейтенант, виноват...

Путинцев обшаривает труп, вынимает коричневый бумажник, смотрит документы.

— Пригодится! — говорит он и запихивает трофей в карман своего кителя.

Звонков подковыривает:

— Приколешь к боевому донесению, к победной ре-
ляции. — Он едко улыбается.

— Сидеть нам нельзя тут, надо двигаться на самую высоту, на гребешок, — говорит Звонков Путинцеву.

— Лучше бы своих подождать и тогда штурмовать, — возражает лейтенант. — Может, пушки уже переправили.

— Когда они ещё подойдут, свои? — говорит Звонков. — Ждать нельзя, время идёт, немцы опомнятся и могут столкнуть нас в реку.

— Чёрт их знает, что у них там, на высоте. Надо бы разведать. Послать группу. Разведку боем провести.

— Ты что, лейтенант? Уж если идти, то всем.

— Где разведка, там и успех, — говорит Путинцев словами из какой-то книжки. — Это же прописная истина, товарищ комсорг!

— Вот именно, — отвечает Звонков. — Ладно. Ты с группой оставайся, а мы попробуем шаррахнуть их. Только дай нам пулеметчиков и пэтээровцев.

Путинцев молчит. Ни да ни нет. Долго молчит.

— Нет, комсорг, пойдём все! — выдохнул он наконец, как будто сбросил с себя какой-то груз. — Я приказываю взять высоту! — высоким голосом выкрикнул он.

Звонков улыбнулся:

— Ну, потопали! Хватит лясы точить.

Он выпрыгнул из окопа и, не оглядываясь, пошёл на высоту. Я не отставал от него ни на шаг. Слышу, за нами поднялись все. Мы бежим рассыпным порядком, стреляем, выкрикиваем потрeбные и непотрeбные слова.

Немцы почему-то не очень цеплялись за высоту. Постреляли совсем недолго, и когда мы добежали до их окопов, там уже никого не было. Отошли фрицы, видимо, в ближайший лесок, а оттуда, по оврагу, в деревню.

Она, эта венгерская деревня с красными и белыми крышами, виднелась вёрстах в трёх отсюда, и из неё доносилось гудение моторов.

В окопах мы начали устраиваться капитально, пошли в ход лопаты. Я прислушивался к моторному рёву, как прислушиваются к зубной боли. Неужели в деревне танки?

Ну да, так и есть. Вот оттуда выполз один танк, второй... третий...

Они шли сначала по дороге, и мы ещё надеялись, что не на нас они выпущены. Но вот первый круто повернул в нашу сторону, за ним — остальные два... Покачивались длинные стволы их, словно руки с кулаками, которые угрожали нам.

Упал где-то позади окопов первый снаряд, впереди — второй... И началось!

Я стоял рядом со Звонковым. Испачканное, грязное лицо его осунулось, скулы и нос стали угластыми, острыми. Красные глаза распахнулись.

Два или три снаряда разорвались близко, окопы дрожали, обваливались.

Около нас оказался Путинцев.

— Надо отходить, — хрипло сказал он. — Мы не справимся. Нужны сорокапятки.

Звонков не повернул к нему головы, он впился глазами в танки.

— Что вы молчите! — закричал Путинцев. — Я отвечаю за людей, а не вы!

Что делать Звонкову? Официально он не командир взвода или роты, приказать солдатам не имеет права. Но ему хочется удержать высоту, выполнить приказ. И он во всю мочь кричит:

— Гранаты к бою! Пэтээровцам ждать команды! — И побежал по траншее к солдатам.

Я за ним. Я не в силах был оторваться от Звонкова, будто он за эти ночные часы создал вокруг себя какое-то магнитное поле, из которого нельзя было вырваться.

Шагал за нами и Путинцев. Он схватил Звонкова за плечо, зашептал:

— Ты ответишь за гибель людей! Надо отойти к реке, там переправили пушки...

— Замолчи! — Звонков как-то бешено сверкнул красными белками.

— Я доложу о твоём самоуправстве.

Звонков остановился около пэтээровцев, приложился к прицелу.

Танки ползли вроде как-то лениво, нехотя и оттого казались ещё более грозными и неуязвимыми. На левом нашем фланге кричал раненый. Визжали осколки и камни.

Теперь нас могли спасти только противотанковые ружья, и поэтому Звонков не отходил от Пеночкина, который лежал у такого ружья.

— Точнее, Пеночкин! — говорил он.

Пеночкин мазал, танки шли.

— Спокойно, спокойно, Пеночкин! Целься лучше, — говорил Звонков. Казалось, Звонков готов был сам полететь вместо снаряда и удариться в танк.

— Есть! — выкрикнул Пеночкин.

Один танк остановился, взвизгнул, как зверь, и из него показался дымок. Потом открылся люк башни, и оттуда начали выпрыгивать танкисты. Они бежали от нас...

О, что тут случилось с нами! Кто во всю глотку кричал «ура!», кто сыпал матерками, кто свистел... А какими длинными очередями заиграли автоматы! Очередь — поддиска, не меньше.

Остановился ещё один танк. Третий вдруг круто повернул назад. Мы повыскакивали из окопов, махали автоматами и винтовками.

Все мы словно посходили с ума, готовы были бежать за танками и, наверно, побежали бы, дай Звонков такую команду.

А он скомандовал другое:

— В окопы!

Показалось солнце. Дым стелился по низине. Мы со Звонковым пошли по окопам. Хлопцы отдыхали. Двое раненых примолкли. И слышался уже смех. И синел над окопами махорочный дымок, сладкая утеха солдата.

А от реки, из тумана, доносились далёкие голоса: полк переправлялся.

Звонков вынул из сумки ракетницу, высоко поднял над головой и выстрелил. Зелёная ракета вспыхнула в небе. Это был сигнал для наших: «Высота взята».





ПАНЬКА-ГЕНЕРАЛ

Увидеть генерала было заветной мечтой Паньки Гречкина. Жил Панька на Алтае, недалеко от Оби, в селе Рощи. Он видел лейтенантов, капитанов, один раз даже подполковника. Но генерал не появлялся и не появлялся в Панькином селе. Одно из двух: или генералы не знали об этом чудесном месте, или сильно были заняты по службе. Панька всё-таки не терял надежды.

И вдруг...

Но надо по порядку рассказать, как это всё случилось.

Стоял погожий сентябрьский денёк. Панька пришёл из школы, быстро пообедал и отправился на площадь в скверик.

Играли сегодня в прятки. Панька укрылся на чердаке домика с зелёными ставнями и украдкой посматривал в слуховое окно. Он был доволен, что спрятался надёжно — кто догадается искать на чердаке?

Выглянув в окошко, Панька увидел военного, который шёл по той стороне улицы. Сразу бросились в глаза широкие, в ладонь, красные лампасы на брюках. Панька разинул рот, у него захватило дух. Сомнения не было: он! г е н е р а л! Панька быстро скатился по шершавому углу

дома и вмиг оказался за воротами оградки. Только тут он почувствовал боль в правой руке. Саднило палец! Рука была в крови. Но генерал с каждой минутой отдалялся — тут уж было не до пальца. Панька вбежал в оградку и закричал:

— Генерал! Генерал прошёл! Бежим догонять!

Никто не вышел из укрытия. Панька снова вылетел за оградку и лицом к лицу столкнулся с Гришей.

— Нашёл одного! — крикнул Гриша и вцепился в Панькин свитер.

— Генерал! — перебил его Панька. — Генерал в нашем селе! Мимо прошёл, вон, видишь? Бежим!

И друзья кинулись вслед за генералом. Вскоре они догнали его, забежали вперёд, поглядели в лицо, потом чуть приотстали. Генерал правую руку сунул в карман. Когда он вынимал платок, из кармана выпало что-то блестящее. Друзья подождали, чтобы генерал отошёл немного, и кинулись к этому месту. Находка досталась более расторопному Паньке.

— Пуговица! — обрадовался он. — Это от генеральского кителя!

Ребята не знали, конечно, что пуговица, обронённая генералом, была вовсе не от его кителя.

Солдатская служба нелёгкая: походы, учения. Приходится и бегать, и лазать, и ползать. Бывает, что у солдата оторвётся пуговица, и он забудет сразу её пришить. Генерал не терпел такой забывчивости: увидит солдата без пуговицы — сейчас же дарит ему свою, заранее припасённую. От такого генеральского «подарка» солдату становится не по себе.

Панька спрятал пуговицу в карман и для верности зажал её там в кулак.

– Давай отдадим! – сказал Гриша.

Панька промолчал.

– Променяй мне на сизаря¹...

Генерал вдруг остановился и поманил ребят к себе. Панька с восхищением глядел на разноцветные орденские ленточки, лесенка которых занимала всю грудь генерала.

– Я, дяденька генерал... товарищ генерал... прошу на память... – смущаясь, заговорил Панька.

– Что – на память?

– Пуговицу.

Генерал улыбнулся, полез в карман.

– Нет, нет, – заторопился Панька, – она уже у меня. Вы обронули, а я подобрал.

– Теперь ясно. Что ж, дарю. Давайте познакомимся, – и генерал протянул руку.

Вместе пошли по улице. Генерал расспрашивал о школе, о пионерском отряде. Друзья отвечали невпопад.

– А вы почему здесь? Долго будете у нас? – храбро спросил Панька.

Оказалось, что генерал – брат их учительницы, приехал к ней в гости.

– А что это ты все время палец посасываешь? – обратился генерал к Паньке. – Или мёдом его намазал?

– Кожу содрал, – поморщился Панька

– Это ничего, новая нарастёт. Давай-ка лучше завяжем твою рану. – Генерал достал из кителя кусочек чистого бинта и перевязал Паньке палец.

¹ Сизарь – сизый голубь.

– Больно?

– Маленько.

– Терпи. Я не люблю, кто хнычет, и дружить с такими не хочу. Не люблю размазуль и нытиков.

Гость прожил в Роцхах три дня. Провожали его всей школой до самой горы. После проводов Панька объявил, что генерал подарил ему на память пуговицу. Паньку окружили товарищи. Блестящая пуговица лежала у него на ладони.

По дороге из школы Панька всё крутил нижнюю пуговицу на своём пиджаке. Ещё на пороге он объявил:

– Мама, у меня пуговка отрывается!

– На тебе, как на огне, всё горит! Снимай пиджак, пришью.

– Да я сам! Дай только мне иголку!

Панька взял иголку с ниткой, ножик, зашёл в горницу, отпласнул свою чёрную пуговицу и на место её крепко пришил блестящую генеральскую.

– Батюшки! Что ты наделал? – удивилась мать. – Почему старую не пришил?

– У неё дырочки лопнули! – соврал Панька.

– Ну и ходи теперь с разными. Додумался.

Утром, как только он зашёл в класс, новую пуговицу сразу заметили.

– У Паньки – генеральская пуговица!

– Панька – генерал!

Прозвище подхватили. И пошло по всей школе и по всему селу: «Панька-генерал», «у Паньки-генерала», «к Паньке-генералу»...

Паньке льстило такое прозвище. Человек он был приметный, часто верховодил над ребятами. Правда,

с учёбой у него не совсем ладилось. Задачки-то он решал быстро. Не успеет Ксения Петровна объяснить задачу, а он уж кричит: «Готово!» Но бедой Паньки была грамматика, все эти глаголы, склонения и спряжения. В них он путался, как в густом визиле... В его тетрадах по русскому языку было красно от ошибок. Виной всему была Панькина непоседливость и торопливость.

Однажды на перемене Панька дёрнул за косичку свою одноклассницу Натку, и та запищала:

— Что ты, генерал, лезешь ко мне?

Паньке почему-то резануло уши слово «генерал». Потом как-то в коридоре он подслушал разговор ребят:

— Генерал сегодня двойку схватил по грамматике.

И опять ему не по себе стало за своё прозвище.

Понял Панька, что генералом стали звать его чуть ли не в насмешку. Пришёл он домой, снова взял ножик и иглу, зашёл в горенку и отрезал дорожную пуговицу, завернул в тряпочку, положил в укромное место...

Наступила весна, кончились занятия в школе. Панька стал работать в полевой бригаде — подвозил воду для кухни. Однажды подъезжает он с водой к стану — и лошадь неожиданно выскочила из оглобель. Оказывается, гужи у хомута были длинные, не по дуге, упряжь и ослабла. Панька полетел с телеги, потащился за вожжами по земле. Конь зверовато храпел. Дело могло кончиться плохо, если бы на помощь не подоспел дядя Яша, тракторист. Он остановил испуганного коня, поднял Паньку с земли.

— Молодец парнишка! — сказал он. — Волочился по земле, а вожжей из рук не выпустил!

Панька отряхивал с себя пыль, вытирал кровь со щеки. Было обеденное время, на стан пришли все. Паньку

окружили и взрослые, и мальчишки. Насмешливый Васька, прицепщик, подтрунивал над ним:

— Надо разжаловать этого генерала в рядовые! Запрягать не умеет. Смотри, гужи какие длинные!

Дядя Яша закричал на Ваську:

— Ну, чего зубы скалишь? У парнишки и так несчастье, а он ещё потешается. Брысь отсюда!

Тракторист помог мальчику укоротить гужи и снова запрячь лошадь. Панька перелил воду из бочки в цистерну и отправился в новый рейс.

Подъехав к речке, Панька удивился: она стала намного шире, течение ускорило, откуда-то появились плывущие льдины. Полая вода нынче уже приходила, затопляла всю заречную пойму. Неужели будет разлив во второй раз?

Льдины бились о берег, друг о дружку, с треском лопались, расходились, снова сплывались. Этот лёд шёл оттуда, с большой реки Оби. Вот одна из льдин наскочила на огородный плетень, который притулился к речке, — сухие прутья затрещали. На эту льдину нажала другая — и колья плетня сломались, его развернуло, понесло...

Вода прибывала и прибывала. Ноги лошади уже были по колена в воде, колёса — по самую ось. Панька быстрее стал черпать воду.

Вдруг он услышал в воздухе гудение мотора. Поглядел на небо. Справа, из-за леса, выплыл вертолёт. Тревожно стало на душе у Паньки. Появление вертолёта над этими местами означало, что всей пойме грозит затопление: ведь в первую большую воду весь луг затопляло. День и ночь над водой кружили вертолёты, спасали людей

и животных, оказавшихся в беде. Вспомнил Панька, что в соседнем колхозе не успели тогда переправить с отгона молодняк, и много телят погибло. И другая мысль вдруг обожгла Паньку: ведь там, на луку за речкой, пасётся табун колхозных коров. Утром выгнали. Почему их не гонят обратно? Пастух, наверно, не знает?

Лихорадочно мечутся в Панькиной голове мысли. Вода холодная. А идёт-то как, точно взбесилась. Вон уже в огород забралась, кружится, пенится. Отрежет табун, затопит, погубит.

И вспомнил Панька слова генерала: «Размазуй и нытиков не люблю». И ещё вспомнил, как потешался над ним Васька на бригаде...

Со всей силой стегнул Панька коня, выехал на взгорок. Быстро развожжал, рассупонил, снял хомут, сбросил седёлко. С телеги запрыгнул на коня.

Гнедко с опаской идёт в ледяную воду, фыркает, норовит повернуть обратно. Панька бьёт его под бока сапогами, дёргает за повод, машет прутом. Смелее, смелее, Гнедко! Над всадником низко пролетает вертолёт. Наверно, вертолётчики думают, что его, Паньку, спасти надо. Ошибаются! Панька сам сейчас вроде спасителя. Он... как это говорят? Форсирует, да, да, форсирует реку, чтобы спасти скот.

На середине речки Гнедко всплывает. Панька, ухватившись за гриву, ложится на спину коня. Вот уже опять мелко — ноги Гнедка ступают по дну. Одежда на Паньке намокла, прилипла к телу. Вода стекает с неё ручьями. Холодно, зуб на зуб не попадает, но Панька вскачь мчит-ся от речки на лука. Размахивает прутом, точно саблей.

За борком показался табун. Панька ещё издали закричал:

– Дядя Иван, почему пасёте?

– А что же нам делать?

– Вода идёт! Гнедко на середине речки всплыл! Там такое творится, дядя Иван!

– Что ты мелешь?

– Опять идёт! Второй раз! Лопнуть глазам, если вру!

– Тогда помогай собирать табун! Да живее, живее, Панька!

– Мне, дядя Иван, воду на бригаду возить надо...

– Это ведь тебя генералом-то зовут?

– Ну, – недовольно ответил Панька и отвернулся.

– Ты и в самом деле орёл-парнишка! Сообрази-ка теперь, где главный бой идёт: у твоей бочки или здесь, у табуна?

Панька, не ответив, помчался заворачивать коров. Долго собирали табун и перегоняли его. Уже затопило всю долину, и коровы брели по брюхо в воде, а через речку – плыли. Вода всё шла. К вечеру она разлилась по всей огромной приобской пойме.

Охрипший, вымокший и продрогший Панька впотьмах прискакал на Гнедке домой. Залез на тёплую печь. И, когда отогрелся, вынул из чулана генеральскую пуговицу: золотом отливала она в темноте.







ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Однажды к нам в школу приехал лесничий. Он созвал нас всех в зал и объяснил, как сажают сосновые деревья. Потом он попросил, чтобы мы собирали шишки и сдавали ему. Все закричали:

— По целому мешку наберём!

Назавтра было воскресенье, все потянулись в бород. Я взял мешок, бросил на санки и тоже пошёл. На дороге стоит Ванька по прозвищу Главный Механик. Пальто у Ваньки новое, но карманы уже обвисли, потому что в них он всегда какие-нибудь железки носит. Он часто околачивается в кузнице, в гараже или на электростанции. Наподбирает разных ненужных частей, принесёт домой и ковыряется в них.

— Возьми меня с собой, Толя, — просит Ванька. — Мы шишек больше всех наберём. Я буду санки возить.

— Там снег глубокий, — говорю я. — Увязнешь — и вытаскивай тебя.

— Не увязну. Я маленький, что ли!? Давай повезу санки, — просит Ванька и берётся за верёвочку.

Ванька везде работу себе находит, это я не раз видел: когда он бывает в кузнице, то кузнецу мех раздувает; в гараже шофёру ведерко подержит или ключ какой подаст;

в мастерской точило крутит... Других парнишек да и меня большие гонят, говорят: «Не мешайте, не путайтесь под ногами», а Ваньку встречают как всё равно какого работника. Ни с кем из маленьких не здороваются по ручке, а ему обязательно протянут руку: «Здравствуй, Главный Механик!» Да ещё спрашивать начнут: «Как дела?»

Прямо почётный человек этот Ванька. Самому только седьмой год идёт. Я вот уже большой, в третьем учусь, но какой-то незаметный. Живу, а меня вроде и нет.

Пришли мы в лес, нашли место, где сосны погуще, и я полез на дерево. До сучков далеко, кое-как докарабкался. Встал на первую ветку, хотел по ней чуточку пройти — она подломилась, и я загремел вниз. Когда упал, что-то в левой ноге щёлкнуло. В глазах у меня аж снег сделался чёрный. Я хотел подняться, да не тут-то было: так резануло ногу, что я закричал, как маленький.

Ванька говорит:

— Давай я полезу, а ты лежи.

Скинул своё пальтишко и полез. Да где ему! Ногами скёт, а сам на одном месте. Как машина, буксует.

— Нет, Ваня, поедем домой, — говорю я.

Заполз я на санки. Ваня повёз меня, вроде я мешок с шишками. Снег глубокий, санки тонут. Упрел Ваня, как лошадь с возом. Говорю ему:

— Отдохни!

А он:

— Надо скорей ногу лечить!

Пар от него идёт, как будто он только что из бани. Спина закуржавела. Подъехали к деревне, и он заворачивает прямо к больнице.

- Вези домой! – говорю я.
- Зачем домой, скорей лечить надо!
- Я вот тебе дам!
- Ты хромой!

Вот и поговори с ним. Не слушается.

Софья Петровна, фельдшер, и тётя Уля, санитарка, занесли меня в больницу на руках. Ногу из пима кое-как вытащили, положили в горячую воду и распарили. Это не больно. Жду, когда ко мне с иглой или ножиком подойдут. Думаю: вот тогда главное лечение начнётся.

Софья Петровна взялась за ногу обеими руками, шупала, шупала, гладила, гладила, да как дёрнет! У меня аж искры из глаз посыпались. Закричал не своим голосом:

– Что вы делаете?!

– Уже вылечили, – говорит Софья Петровна и смеётся. – Можешь домой ехать. Полежишь недельку – и опять бегать будешь лучше прежнего.

Лежать всё время на кровати невесело. Папа уехал на отгон к скоту, мама почти на весь день уходит семена отрабатывать на сортировке, а я лежу и лежу, будто бревёшко какое. Если бы не Главный Механик, со скуки умер бы. Приходили ко мне друзья, но ведь это после уроков, да и то не каждый день! А Ваня, как по расписанию, – каждое утро.

Приносит однажды мне градусник.

– Возьми, Толя, и скорей вылечивайся, – говорит. – Пихай его под мышку.

Держу я градусник под мышкой, а Ваня даёт мне советы:

– Дольше держи.

– Ваня, ты, наверное, доктором будешь?

– Нет, шофёром.

– А из тебя бы хороший доктор получился.

– Не хочу уколы делать, больно, – морщится он.

Вынул я градусник и говорю:

– Получше стало.

– Вечером ещё надо лечиться, – советует Ваня. – Градусником лечатся утром и вечером. Тебе, наверное, скучно? – спрашивает он. – Давай я тебе книжку прочитаю.

– А ты умеешь?

– Умею. Книжка называется букварь. Я за ней сейчас домой сбегая.

Ваня надевает пальто и уходит. А я лежу на кровати, смеюсь. Трогаю свою ногу – вроде она в самом деле немного поджила.

Ваня входит, раздевается и садится за стол.

– Ау... Ау... Ау... Ау... – читает он из своего букваря.

Перевернул страницу и опять барабанит:

– Ах... Ах... Ах... Ах...

На следующей странице ещё интереснее:

– Ау... Уа... Ах... Ох... Ух...

Дочитал он до слова «Маша» и говорит:

– Дальше я не знаю.

– Ничего, скоро научишься, – говорю я.

Ваня садится ко мне на кровать. Мы долго рассматриваем картинки, которые в букваре. Вдруг Ваня соскакивает и говорит:

– Что я придумал!

Глаза у него заблестели, как окошки под солнышком:

— Я придумал костыли тебе сделать! На костылях будешь на улице ходить! Вот интересно!

— А кто сделает?

— Пойду к дедушке Семёну в мастерскую, с ним сделаем.

И Ваня хватает пальто и выбегает на улицу. Теперь он не придёт, пока костыли не сделает. Только мне уже не скучно, хотя опять один остался. Даже будто я вовсе не один...







АЗИК

Приехали мы жить в село Лесное и на второй день с папой пошли к Гусаровым.

— С ребятишками познакомишься, — сказал папа. — Будете вместе играть.

Пришли мы к ним, поздоровались и сели. Тётя Нюра подвела ко мне девочку:

— Ну, будьте знакомы.

— Света, — сказала девочка и протянула руку.

Я тоже подал ей руку и сказал своё имя. «Это и все ребятишки?» — подумал я.

Вдруг что-то зазвонило на столике. Я посмотрел туда — оказывается, это звонил телефон. Тётя Нюра взяла трубку, и брови её сразу подпрыгнули.

— Совсем? — спросила она в трубку. — Живой ещё? Сейчас бегу.

Она бросила трубку и сказала:

— Азика собаки потрепали.

Света вскрикнула и закрыла глаза руками.

— Ну, не плачь, — сказала тётя Нюра, — ведь он живой.

— Побежим скорей! — просила Света и сильно теребила свою мамку за рукав.

Мой папа говорит:

– И мы пойдём с вами. Это далеко?

– Он в конторе. Допрыгался бедняга, – ответила тётя Нюра.

Мы быстро зашагали по улице. Света не разговаривала, всё время забежала вперёд, торопилась. Я притронулся к её руке и спросил:

– Тебе жалко братика?

– Какого?

– Ну, Азика?

Света рассмеялась.

– Да ведь это собачка. Наш Азик. А братика у меня никакого нет. Есть сестрёнка, но она к дяде уехала.

Ух, с меня будто гора свалилась!

Азик лежал в коридоре конторы с разорванным ухом и закрытыми глазами. Света взяла его на руки, и мы пошли обратно. Дома тётя Нюра вливала собачке в рот какое-то лекарство. Света тоже не отходила от пёсика.

– Завтра будем домашнее кино смотреть, – сказала Света, когда мы уходили.

Назавтра я пошёл к Гусаровым. Азик ещё лежал на своей подстилке у сеночных дверей. Он приоткрыл один свой красный глаз и зарычал на меня.

Светка мне показывала домашнее кино, а потом расхвалилась своим Азиком. Он с большими собаками дерётся. Чужих кур из огорода выгоняет. И телят в ограду не пускает. Зайдёт телок, а он уцепится ему за хвост – и телок сразу задний ход даёт.

– погоди, ты его полюбишь, – сказала она.

Но я не собирался любить Азика. Некрасивый он: маленький, лохматый, уши висят, как лопухи, мордочка

сусличья. Но это бы ещё ничего. Дурак он какой-то. Сам вот болеет, а на меня рычит. Ненормальный.

Мы ещё несколько раз ходили с папой к Гусаровым. Азик выздоровел. Сначала он нас встречал злым лаем, а потом лаять не стал, только рычит. «Привык», — сказал папа.

Однажды я пошёл к Свете один. Подошёл к оградке, только взялся за воротца, Азик как выскочит, как залает да кинется на меня! «Вот это привык», — подумал я, быстро захлопнул воротца и побежал назад. Азик выскочил — и за мной. Прямо за штаны хватает. Словно я это не я, а какой-нибудь чужой телок или там курица. Ну и дурила! Чуть до нашего дома не добежал за мной. Дома я кое-как отдышался. Ну, думаю, теперь к Гусаровым показаться нельзя. Не пустит этот лохматый суслик. И кино больше не посмотришь.

А папа как всё равно подслушал мои мысли.

— Сходи, — говорит, — к тётё Нюре за пилкой. (Мы как раз оградку строили).

— У них Азик, — сказал я.

— Он же тебя знает.

— Да, знает, всё равно кидается.

— А ты иди смелее, — сказал папа. — Смелых он не трогает. Ты же смелый.

Пришлось идти. Тихонько подошёл к оградке. Где же Азик? Он хитрый. Притаился где-то. Как только откроешь воротца, он опять выкатится из своей засады и бросится.

— Постоял я, постоял у воротце и вернулся домой. Папа куда-то отлучился. Хоть бы, думаю, до вечера он не пришёл. Сел я за стол, взял зеркало и смотрю на своё

лицо. Ничего такого хорошего в нём не вижу. Если, думаю, папа придёт, скажу, что у тёти Нюры пилки нет. Или нет: скажу, что тёти Нюры дома нет. Нечаянно я нахмурил брови — лицо стало сердитым. Потом я выпучил глаза, перекосил рот. Ух, до чего страшная рожа получилась! Даже Мурка испугалась, со стола прыгнула... Я подумал: «А если ещё сходить?»

В окне папа промелькнул. Я выбежал из дому, завернул за угол и вышел на дорогу.

Азик лежал напротив гусаровского дома, прямо на дорожке. Иду я по этой тропке, а идти очень не хочется. Пёс молчит, не смотрит на меня. Подхожу ближе — ничего, молчит. Но с дорожки не уходит. Вот проклятый! Притворился. Так и караулит, когда я ближе подойду. Свернул я чуточку с тропинки, а он как будто только этого и ждал. Зарычал, шерсть на спине поднял. Тут бы мне только сделать зверское лицо, напугать Азика, но я совсем про это забыл...

«Трусишка-зайка серенький под ёлочкой скакал», — запел папа, когда я вернулся.

— Что я виноват, что Азик не пропускает?

— Ладно, — говорит папа, — пилку я уже достал. Видишь вот, в хозмаге купил. Хорошая?

Ох, не до пилки мне было! Даже спал я в эту ночь плохо, всё какие-то рожи собачьи снились. Наверное, сто разных Азиков видел.

Соскочил я рано. И вдруг мне захотелось идти к Гусаровым без посылки, чтобы и папа не знал. Сильно захотелось. Кусай ты меня, Азор-Трезор, а я всё равно пройду! Захотел — и пройду! Подумаешь, зверь какой Азик.

Я достал из кладовки сапоги и обулся. Папа вышел и говорит:

— Что такое? Дождя нет, грязи нет, теплынь, а ты сапожищи натянул? Сними сейчас же! Надевай свои тапочки!

Вот опять снова-здорово. Обувайся да разуйся. И мне идти сразу расхотелось. Но я начал себя обманывать, говорил себе, что хочется. И мне вроде бы и вправду идти опять захотелось. А, может, и нет. Сам не знаю. Прямо растерялся.

Тут я вспомнил, как меня учил папа: всегда делать не то, что хочется, а то, что нужно. Нужно мне сейчас к Гусаровым? Да. Вот и пойду. И в тапочках пойду...

Вышел я из дому и чуть не бегом побежал к этому противному псине. Иду и думаю: не тронет, нет, не тронет. Всё равно не тронет. Лаять, конечно, будет. У него этот лай вроде как вот у меня домашнее задание.

Открыл я воротца и вижу: Азик лежит у сенок, в уголке. Поднял голову, раза два гавкнул, а сам — ни с места. Я вздрогнул, постоял, а потом пошёл. Сам думаю: не тронет, не тронет, он же домашнее задание выполняет. И от этой своей выдумки мне самому смешно стало. Он опять загавкал. А я иду. И прямо — к двери. Остановился и стою. Бреши, Азик, рычи, наплевать, не боюсь!

Он лает, а я стою. А потом тихонечко в сени прошёл. Захожу в дом.

— Ты что так рано? И почему улыбаешься? — спрашивает тётя Нюра.

— Кино смотреть, — отвечаю я.

— Что ты выдумал?! В школу же скоро! Восьмой час доходит. Надо Светку будить. Может, что случилось?

Я улыбаюсь и думаю: да, у меня случилось, очень хорошее случилось! Только я тебе, тётя Нюра, не скажу. И никому не скажу!

— Азик у вас хороший, — говорю я. — Умный.

— Какой там умный! Дурачок ещё. Хоть бы ты взялся да поучил его. Светка учит, да он её не слушается. Не умеет она.

— Можно, — отвечаю я. — Выучу, тётя Нюра. Вот возьмусь и выучу.







ЧТО ТАКОЕ ОГОНЬ

Меня очень интересует солнце. Как это оно светит? Это же просто уму непостижимо: вот ночь — темень, ничего не видно, а выглянуло солнце — и всё видишь, даже какую-то крохотную пылинку. Я ещё в прошлом году задал вопрос Клавдии Петровне:

— Что такое свет?

— Будешь, Саня, изучать физику, тогда узнаешь, — ответила она.

Ну вот, называется — объяснила. А если мне ждать невтерпёж, что тогда делать? И почему взрослые боятся, что мы, ребяташки, не поймём их?

А всё-таки что же такое свет?

И ещё я часто думаю про огонь. Что это такое? Загадка! Чиркнешь спичку — и вдруг пламя вспыхивает. Ну, что там есть, в этом пламени?..

Про огонь я тоже спросил Клавдию Петровну, но она опять своё: «Будешь изучать химию — узнаешь». А когда я доберусь до этих физик и химий!..

Я поговорил об этом с папой. Он мне кое-что рассказал, а потом предложил:

— Давай сами испытаем, как добывается огонь.

— Знаю! — ответил я. — Нам рассказывали по истории. Древние люди долго тёрли палкой о палку...

– Этого мы делать не будем. У нас есть спички. А вот наготовить палок на всю зиму надо.

– Каких палок? – спросил я. – Папка, ты меня разыгрываешь!

– Моё имя сегодня будет Вра-Су-Чур. Отгадай, что это означает?

– Какое-то имя из сказки, – ответил я и повторил вслух: – Вра-Су-Чур. Чепуха!.. Я не читал такой сказки.

Папа вытянулся, сделал руки по швам, как делает наш физрук Гелий Никитич, когда показывает команду «смирно», и зашептал заговорщески:

– Я, мудрый Вра-Су-Чур, отныне нарекаю тебя, отрок, именем Великий Дру-Топ.

Я расхохотался. Чудное какое имя! Папа, видно, и его вычитал в детской книжке.

– Мудрейший Вра-Су-Чур повелевает Великому Дру-Топу молчать и следовать за ним..

– Не понимаю! – сказал я.

– Не разговаривать! – гаркнул Вра-Су-Чур, соорудил страшные глаза и задвигал бровями. Я так и застыл на месте. – Слушаться старших – достоинство человека. Так говорю я, мудрейший Вра-Су-Чур. Следуй за мной!

Папка у нас вообще выдумщик и чудила. В прошлом году я спросил его, сколько ему лет, а он мне сразу задачку задал: «В первый год Великой Отечественной войны мне было столько, сколько тебе будет в двадцать пятый год после её окончания. Ну-ка, смекни!»

А потом мы начали игру. Папа говорит: «Сегодня, Саня, ты будешь Емельяном Пугачёвым. Расскажи, как вы восставали против царя и дворян, как громили их».

И я рассказывал всё, что знаю из учебника. А папа ещё кое-что добавлял. Так я побывал и Иваном Грозным, и Петром Первым, и у Кутузова рассыльным солдатом, и декабристом на Сенатской площади... Здорово получалось! По истории я стал одни пятёрки получать.

Сейчас папа, то есть Вра-Су-Чур, опять что-то выдумал. Я иду за ним в дальний угол двора.

— Великий Дру-Топ, — говорит он, повернувшись ко мне, — ты хочешь узнать, как добывается огонь?

— Хочу, — смеюсь я.

— А хочешь, чтобы бицепсы твои окрепли?

— Конечно!..

Про бицепсы папа лучше бы не напоминал, а то у меня настроение портится, когда я о них думаю. Нет их у меня. Не руки, а какие-то палочки. Стыдно... Я с гантелями занимался, сейчас эспандер каждое утро растягиваю, но мускулы не растут.

Вра-Су-Чур подвёл меня к горке чурок и говорит:

— Вот и начнём. Бери топор и коли чурки.

— Это и есть добыча огня?

— Да, — отвечает.

Я взял топор и с одного удара развалил первую тонкую чурку. У меня дух захватило от радости, когда в разные стороны полетели половинки.

— Вот это удар! — сказал Вра-Су-Чур.

Но со второй чуркой у меня так не вышло. Бил я по ней раз десять, а топор отскакивал от неё, как от железной.

— Эта не колетса, — опустил я топор.

— Потому, что с сучками, — сказал папа.

Он взял у меня топор, совсем не высоко поднял его и легко разбил чурку...

— Ты сильный, — оправдался я.

— Не в силе дело. Примечай, — ответил папа. Он поставил новую чурку, потолще, а главное, с сучками — и тоже с первого удара расхряпал её. Ну, прямо какой-то волшебник!

— Ну-ка дай, папа, топор! — не усидел я.

— Возьми.

Я поставил сучковатую сосновую чурку, поплевал на руки, расставил пошире ноги и — р-раз! Топорищем меня так стукнуло по ладоням, что руки отсохли. Отбросив топор, я начал болтать руками, втягивая сквозь зубы воздух.

— Что? Воду, что ли, с рук стряхиваешь? — смеётся папа.

— Не-е, отсушил...

— Ты в сучок угодил, — сказал он, поднимая топор. — Да не дуй ты на руки, сами отойдут. Придётся мне взяться...

Меня заело.

— Нет, нет, дай топор, всё равно расколю.

— Похвально, — улыбнулся папа, — Дру-Топ проявляет настойчивость. Ну-ну, давай!

Уж как только я не бил её! И с этой, и с той стороны, и с боков пробовал... Завязил топор, кое-как вытянул. Бил колотушкой по обуху, ещё раз отсушил руки... А чурка — вроде заколдованная, словно склеенная.

Пот лез мне в глаза, рубашка прилипла к телу. На чурке живого места не осталось, всю я её излиновал топором. Даже кора с неё слетела.

Папа же посматривал да ухмылялся. Наконец, он встал, взялся за топор.

— Хватит, помучился, — сказал. — Теперь соображай. Вот у тебя чурка стоит комлем¹ вверх. А надо бить с вершины — лучше колетса, — он перевернул чурку. — И надо так бить, чтобы линия удара проходила между сучками. Дошло? Вот смотри.

Он размахнулся и стукнул по той железной чурке. Она крикнула и развалилась на две половины. Вот чудо!

— Дай, дай, папа! Теперь я сам! — закричал я.

Взял я топор, установил сучковатую чурку, осмотрел её, наметил, куда буду бить, и показал папе. Он махнул головой: «Правильно».

Первый и второй удары у меня не пришлись по намеченной линии, зато третий оказался точным. Ура! Я разбил половинки ещё на половинки, подталкивая другую чурку, разговорился с ней: «Хорошо, что ты с сучками. Сейчас стукну и сделаю из тебя полешки!..»

— Ну-ка, р-раз! Есть такое дело! Разлетелась. А ну-ка, эту половинку осмотри. Так, хорошо. Р-раз! Есть два полена! Теперь вторую половинку...

Как легко колоть дрова! Что это я раньше их не колел! Всё папа да папа. А ведь я уже большой. И сила есть, конечно, — вон как отскакивают поленья.

— Устал? — спросил папа.

— Нет, нет! — и я снова колю. Хорошо! Замечательно!.. Хоть бы мама вышла, посмотрела и похвалила. Вот какой я колун!

¹ Комель — нижняя, прилегающая к корню часть дерева.

Да, колун. Слова я тоже, как и папа, бывает, придумываю. Нечаянно навёртываются они на язык. Однажды я затопил камелёк и сказал: «Я знаменитый камелёкозатоплятор». И папа долго смеялся над этим словом. Скажу-ка я сейчас и про «колуна».

– Папка, я знаменитый колун.

– Колун? – расхохотался он. – Точное определение, если учесть, что ты не сразу освоил это дело.

Папа продолжал смеяться, и смех его был каким-то хитрым. Что это он? И тут я вспомнил, что колуном-то называют тупого человека, тупицу.

– Нет! – крикнул я. – Я не колун, а кольщик!

– Это другое дело, – улыбнулся папа. – Ну, присядь, передохни, кольщик.

Я положил топор.

– Обследуй свои руки.

Я посмотрел на ладони: на правой бурели круглые пятнышки. Кровяные мозоли!..

– Вытри лоб как следует, – говорит папа.

Лоб у меня чесался. Я потёр его рукавом рубашки, но всё равно щипало... Папа пощупал мой лоб.

– Горячий. Прямо огонь! Твоя энергия перешла в дрова. Жаркие будут!.. Понял теперь, что такое огонь?

– Нет...

– Это движение. В пламени сильно двигаются какие-то частицы. Они и есть огонь, движение. Понимаешь?

Мы ещё кололи дрова.

Потом, когда папа сам устал, сказал:

– А теперь я тебе открою тайну имён.

– Каких?

– Вра-Су-Чур и Дру-Топ...

Вот оно что! А я с этими чурками забыл – эти имена совсем из головы вылетели!

– Враг Сучковатых Чурок и Друг Топора – вот что значат эти имена.

– Ну и выдумщик ты, папа!

Я присел на горку поленьев. Чувствую, как по рукам, под кожей, горячими толчками двигается кровь. Мне захотелось прилечь на поленья и уснуть – законно уснуть, как добытчику огня.







МОЙ МЕДНОЛИЦЫЙ БРАТ

Я проснулся от стука топора.

— Кто это тешет? — спросил я, сбрасывая с себя одеяло.

— Да Петька же, кому, кроме него, — ответила мать, возившаяся у печки.

Я вышел на улицу. Семилетний братишка мой тесал толстую колодину, которая лежала у тына.

— Ногу оттяпаешь, эй ты, плотник!

— Братка, сделай мне маленький топорик.

— Зачем он тебе?

— Хочу построить дом для Дружка. Вот тут затешу и прибью доски. И с другой стороны тоже. А вот отсюда-ва лаз у Дружка будет.

Дружок лежал тут же, у ног Петьки, и, словно понимая добрый замысел, любовно следил за его движениями, благодушно позёвывал.

— Вот привезут в магазин топорики, я тебе куплю, а этим не теши, он тяжёлый, острый.

— Их привозят с железными ручками, а мне надо с правдашним топоричем. С правдашним не привозят.

— Заладил своё: с правдашним. Положи сейчас же топор! Сказано: привезут — куплю!

Петька нехотя втыкает топор в лесину.

– Умывайся и – завтракать. Мама ждёт нас.

– Я уже умывался.

Сделав в ограде зарядку, я иду во дворик к подвешенному на столбе умывальнику. Вода в нём почему-то вязкая, с неприятным привкусом. Поднимаю крышку: в воде лежат скрученные хлыстики ветловой коры.

– Мама, что это такое? – кричу в открытую дверь сенок. – Кто наложил в умывальник коры? Во рту все связало!

– Петька, кому, кроме него, будь он неладен!

Петька выбегает из дому, выхватывает у меня из рук связку коры.

– Зачем ты положил её в умывальник?

– Чтобы не высохла. Высохнет – тогда бич не сплетёшь.

– Ты что же, другого места не нашёл? И зачем тебе бич, пастухом собираешься работать? Какой универсал – и плотник, и пастух...

Петька насупился, молчит. Внимательно разглядываю Петькино лицо. Нос от постоянного купания облупился, шелушится, и между ошмёток старой, слезающей кожи розовеет новая, неизвестно которая по счёту. Волосы и брови выгорели. Всё тело – цвета красной потемневшей меди. Ноги грязноваты, на стопах, кажется, уже не раз выводились «цыпки». Так сказать, мой «меднолицый» брат.

– На кого ты похож! – насмешливо говорю ему.

– Сам на себя, – дерзит Петька.

– Ого, да ты зубастый! Ладно, у меня много не зубатишь.

Ох, замучилась, видимо, с ним мама!

Я вчера только прибыл в своё родное село. Больше месяца после окончания педагогического училища был в туристическом походе по родному краю.

В кармане у меня лежит дорогая книжечка — диплом об окончании училища. Новенькие синие корочки, а на них тиснуты серебряные буквы. Раскроешь корочки, а там чёрным по белому написано, что именно мне, Зеленину Григорию Ивановичу, тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения, присваивается звание учителя. Я сотню раз это прочитал — и каждый раз читать было очень приятно.

После завтрака, когда мать ушла на работу, я сказал Петьке:

— Ну, вот что, братик, слушай. С сегодняшнего дня я сам берусь за твоё воспитание. У меня ты много не пошалишь, будешь шёлковый, по одной плашке будешь ходить. Понятно?

— Ага.

— А что понятно?

— Что ты меня научишь по одной плашке ходить.

— Не совсем так. Придёт время — поймёшь. А пока иди играй.

Сильно хлопнув дверью, Петька стремительно выбегает на улицу.

Кричу:

— Стой! Вернись!

Петьки уже след простыл. Поискал в садике, на улице — нигде нет, как в воду канул. Пошёл под гору, в огород: Петька булькается в луже, что-то хватается руками.



— Ты что там делаешь?

— Лягушку ловлю.

— На что она тебе? Не возись в тине, сейчас же выйди!

Жду его добрых три минуты, напоминаю, грожу. Он вылезает из лужи с трофеем: зажал лягушку в руке и несёт на показ. Измазан по самый пупок.

— Братка, а что она ест?

— Выбрось эту гадость сейчас же!

— Я её покормлю, только скажи, что она ест.

— Этого ещё не хватало!

— Кормить буду, — конючит он.

Я с силой вышибаю лягушку из его рук.

— Иди мойся.

Пока он моется, в волнении расхаживаю по комнате. А верно, чем же она питается, эта треклятая лягушка? Кажется, мы её никогда и не изучали. Копаюсь в своих учебниках, но ничего не нахожу. Досадно. Впрочем, пустяки: я ведь не биолог, не зоолог или там ещё какой-нибудь «олог». Просто учитель начальной школы.

— Ну, вот что, — говорю Петьке, когда он входит в избу, — запомни первое правило: когда выходишь из комнаты или, наоборот,ходишь в комнату, дверью хлопать нельзя, это дико, некультурно. Понимаешь?

Петька молчит, уставившись на свои ноги.

— Глади мне в глаза, ты что, не видал свои заскорузлые лапы?!

Я знаю этот учительский приём: Данила Яковлевич, наш директор семилетки, бывало, им пользовался. Петька

смотрит мне в глаза, однако во взгляде его не нахожу виноватости и раскаянья. Этакое безмятежное, чистое простодушие!

«Ну, братик, чёрт в тебе сидит, вышибу я его!»

Сделав строгое лицо, продолжаю распекать Петьку:

— Как ты выходишь из комнаты? Не выходишь, а вылетаешь... как пробка из бутылки...

— Я не пробка, — бурчит Петька.

— Иди, да чтобы больше такого не повторялось!

Петька уходит на этот раз тихо.

После обеда пришли к нему друзья. Всей ватагой отправились они куда-то в нижние огороды. Притащили прутьев. Выхожу на улицу, вижу: одни обдирают прутья, другие плетут погонялки, а Петька строгаёт ножичком палку.

— Петька, ты что делаешь?

— Свистульку, — отвечает он, швыряя облезлым носом. На лбу блестят капельки пота. Какой-то малыш, раскрыв рот, следит за его работой.

— Руку порежешь, Петька. Зачем она тебе, свистулька, плети лучше бич.

— Я не себе, вот Толику.

Нож острый: того и гляди отлетит у Петьки палец. Разве можно ему с таким ножом?! У меня замирает сердце... Принимаю смелое решение: отобрать нож. Конечно, это не так просто, без конфликта не обойдёшься. Но не в том ли задача воспитателя: смело вступать в конфликты, если этого требуют высокие цели воспитания?

— Где ты взял нож?

— Дядя Коля подарил.

Тоже хорош этот «дядя Коля». Воспитатель нашёлся. Кажется, уже не маленький, тракторист, а дарит ребёнку чёрт знает что.

– Дай-ка сюда, – я протянул руку.

Петька отдёнул нож, спрятал за спину. Испуганно смотрит на меня. Тут важен психологический момент. Чья воля сильнее – моя или Петькина. Держу протянутую руку. В моих глазах, вперившихся в Петькины, должна быть полнейшая уверенность: усомнись я хоть чуточку в своей правоте – Петька заметит это и нож не отдаст. Кое-что я понимаю в психологии... Держу руку полминуты. Петька начинает колебаться.

– Мне дядя Коля насовсем подарил, – кисло тянет он. – Я ему много гаек насобираю, а он мне – складешок.

– Ну, дай посмотреть.

– Ты не вернёшь... Мамка мне разрешила...

Хитрый Петька: решил прикрыться авторитетом дяди Коли и мамки. А что мне эти авторитеты? У так называемого «дяди Коли» ещё и усов нет, его самого надо воспитывать да воспитывать; что касается малограмотной мамки, то я вижу, что Петька совсем уже сел ей на шею и ножки свесил.

– Ну, давай, давай нож, – настойчиво требую я. – Сделаю сам ему свистульку.

– Я бы тоже сделал, – плаксиво и уже нетвердо говорит Петька.

Нерешительно, словно расстаётся с бог знает каким сокровищем, Петька протягивает мне складень. Лезвие уже у меня в руках, но за рукоятку он ещё держится, надеясь, что в самый последний момент я могу передумать.

— Не умеешь нож подавать: снёшь вперёд лезвием. Это некультурно. Нож дают всегда рукояткой вперёд.

Петька отворачивается от меня, плечи его вздрагивают. Притихшие мальчишки окружают Петьку. На меня не смотрят.

Я вошёл в избу, прилёг на диван, задумался. На душе неприятный осадок: пообещал сделать свистульку, а как буду делать, если не умею? О лягушке смогу ещё прочесть в учебнике зоологии, о свистулке нигде ничего не найдёшь.

Эх, была не была! Выхожу к ребятишкам и наигранно весело говорю:

— Давайте делать свистульку!

Первый подходит ко мне Толька, самый маленький.

— Вот из этого, — протягивает он прутик.

Сажусь на бревно. Ребятишки сначала робко, потом всё смелее подходят ко мне, и вскоре я оказываюсь в их кольце. Подсказывают, поправляют, спорят между собой. Все, кроме Петьки, держащегося поодаль, захвачены моей работой. Первая свистулька у меня не вышла, пришлось забросить её. Мои консультанты огорчены, но выражают надежду, что вторая обязательно получится. Получилась она немного глухой, сипловатой. Теперь я и сам знал, что третья будет хорошей. Ах, как хотелось вырезать свистульку настоящую, с чистым залихватным голосом, напоминающим голос жаворонка!

И вот она, многотрудная, готова. Пробую: свист приятный. Даю ребятишкам. Они свистят по очереди. А мне не терпится отобрать её у них и свистеть, свистеть! Какое удивительное чувство испытываешь, когда сам что-нибудь смастеришь, пусть даже свистульку!

Петька не разделяет общей радости, стоит безучастный, молчаливый.

Утром мать, уходя на работу, спросила:

– Ну, как вы тут без меня, не скучаете?

– Я, мам, с тобой на бригаду пойду, – сказал Петька.

– Зачем?

– Может, сусликов половаю.

Я почувствовал, что эта просьба Петьки пойти с матерью – не что иное, как попытка на целый день ускользнуть из-под моего педагогического влияния, и решительно возразил:

– Петька останется дома, у нас с ним особый разговор.

– Тогда, сынок, оставайся, с Гришей будешь. Слушайся его, он у нас грамотный, одиннадцать лет учился.

– Одиннадцать классов не бывает, – солидно заметил Петька, – только до десяти.

– А вот и бывает, – говорю я.

– Врёшь!

– Разве взрослые врут? Запомни, что так говорить взрослому нельзя, это грубо, невоспитанно.

– Зачем тогда это слово придумали?

– Его можно говорить только равному, например, своему товарищу.

– Мои товарищи – не вруши.

– Тебя, кажется, не переспоришь.

– Я не спорю, а говорю. Большие, бывает, тоже врут. Вот ты, братка, сказал, что ножик берёшь только посмотреть, а сам не вертаешь.

– Не вертаешь! Научись говорить сначала! Видишь, мама, какой он: ему слово, а он тебе десять.

— Хватит вам ругаться, живите друзьями, — мягко советует мать.

Нет, друзьями мы так и не стали...

Сразу после завтрака Петька с товарищами ушёл на рыбалку. Я сходил в библиотеку, взял книгу, улёгся с нею на диван. (Да, кстати, я разыскал в библиотеке зоологию и проштудировал всю лягушку.) В полдень рыбаки вернулись. Петька взял с полки кусок хлеба, насыпал в бумажку соли. Шарился в посудном шкафу, гремел ковшом в сених... И вдруг исчез. Надо было обедать, но он не приходил. Дочитав главу, я отправился на поиски. Случайно проходя мимо бани, услышал голоса. Открываю дверь:

— Вот вы где, голубчики!

Петька машинально спрятал руку за спину.

— Что это ты прячешь, ну-ка покажи!

Он роняет на пол спички и только после этого протягивает мне пустые ладони.

— Покуриваете?

— Нет, мы уху варить будем.

— Баню сжечь.

— Да мы не здесь, в огороде.

В котелке, стоящем на полу, плавало несколько мелких рыбёшек. Тут же валялись головки лука, кухонный нож, куча щепок и сухого хворосту.

— Мы всегда в огороде варим, — вмешался Петькин компаньон.

— Нашли из чего уху варить! Какая это рыба? Это же мальки, головастики! Надо ухи — спроси, я пойду куплю рыбы, мать сварит. Оголодал, что ли?! Ну-ка, выметайтесь отсюда!

Я был зол на Петьку, наверное, ещё и потому, что он задерживал наш обед: есть мне очень хотелось.

Я взял котелок, выплеснул из него всё содержимое. Подбежал Дружок, начал аппетитно уплетать Петькину добычу. Петька с разбегу пнул его. Потом со злости ударил ногой по котелку – подпрыгивая и дребезжа дужкой, котелок покатился. Петька быстро зашагал по дорожке вниз, в огород.

– Куда ты? Обедать надо!

Он не оборачивался и не отвечал. Вслед за ним пошёл и его товарищ, а потом и Дружок, проглотив последнюю рыбёшку, поплёлся за своими благодетелями. Вероятно, пёс уже забыл про пинок, которым угостил его Петька.

– Петька, вернись, будем обедать!

Трепались по ветру белые, выгоревшие волосёнки. Товарищ едва поспевал за Петькой. Дружок прыгал у Петькиных ног, ища ласки. Но Петька шёл и шёл, наклонив голову вперёд... Вот ведь беда: у такого маленького, а тоже есть сердце!

В огороде меня встретил почтальон:

– Вам, Григорий Иванович, письмо.

«Григорий Иванович». Такое обращение, впервые услышанное, меня удивило. Да ведь в деревне уже знают, что я приехал с дипломом учителя!

Письмо меня вызывало на место работы, в соседний район.

Начал собираться. Уложил всё в чемодан, пересмотрел документы. Открыл синие корочки с серебряным тиснением и долго глядел на записи в дипломе. Вдруг

почувствовал, что той радости, которую испытывал раньше при чтении диплома, уже нет...

Петька пришёл только вечером, когда вернулась мать. Со мной не говорит. Да и я не захотел вступать в споры: зачем омрачать последние часы пребывания в родном доме? Отъезд был назначен на утро.

Братик ещё до завтрака куда-то скрылся. Его ждали, посылали мальчишек в розыски. Но Петька демонстративно не хотел меня провожать!

Я решил сам окликнуть его: ведь где-то же он поблизости. Я вышел из дворика, зажмурился от солнца, ударившего прямо в глаза. Слышу, кто-то рядом ворчит. Смотрю: Дружок. Сердито так, совсем всерьёз ворчит на меня... Ух, чёрт побери, и этот тоже! Да что они — словорились все? Петька тут на́больший какой, что ли, главный хозяин?

Я повернулся и пошёл в дом.

Как это получилось, что я не сумел поладить с братиком? И как же буду работать в школе? Ведь на моих руках окажется много таких «меднолицых братьев».

И впервые после окончания училища в душу мне закрался страх, подобный тому, который испытывает турист перед высокой отвесной скалой. И надо, непременно надо, и хочется вскарабкаться на её гребень, а страх гнездится где-то под ложечкой, и требуется усилие воли, чтобы начать подъём.

СОДЕРЖАНИЕ

Дороги к счастью Ивана Шумилова.....	5
Стефка	9
Петушок.....	65
Как мы захватили плацдарм	143
Панька-генерал.....	159
Главный механик.....	169
Азик.....	175
Что такое огонь.....	183
Мой меднолицый брат.....	191

Литературно-художественное издание

Иван Лаврентьевич Шумилов

ЧТО ТАКОЕ ОГОНЬ

Редактор-составитель: Л. В. Санкина

Дизайнер-оформитель: К. М. Паршина

Корректор: С. А. Лукина

Верстка: Н. Е. Бреус

ISBN: 978-5-90363-287-9



Подписано в печать 26.08.2019. Формат 84x108/32. Усл. печ. л. 10,71.

Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 1020.

Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФИЯ КОЛОРИТ».

630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35, корпус 7/3.





